Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет!
Кто весел, тот смеется,
Кто хочет, тот добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет!
Василий Лебедев-Кумач

МАМА, ПАПА И КИТАЙЦЫ

Всему хорошему меня научили родители. Поэтому диск с Робертино Лоретти остался в магнитоле. Китайцы могли обидеться, если бы я его забрала. Вот только что неслось: «Джама-а-а-а-айка!» над заснеженными боксами, даже такса на крыше встрепенулась. И вдруг никакой «Джамайки». Неудобно как-то перед китайцами. Им и так у нас неуютно и холодно. На пустыре буянит ледяной ветер, набрасывается на машинные скелеты, пробирается под тонкие китайские курточки, треплет бумажонку на ржавом контейнере с надписью «Офис».

Ничего не поделаешь, придется ждать. Дело привычное. Пробки докатились до самого Тихого океана. В пробках можно развлекаться. Смотреть свое кино. Лишь бы музыка играла. Под одну пешеходы бодро маршируют, воробьи деловито снуют, реклама на гигантских мониторах зовет в светлое будущее. Под другую — люди печально бредут, воробьи взъерошенными шариками сидят на ветках, а на мониторах появляется какая-нибудь страшилка про СПИД или непристегнутый ремень.

Китайцы носятся под «Джамайку», копошатся в двигателях, перебрасываются инструментами, смеются. Просто праздник труда. Ветер наконец делает полезное дело: продувает в грязных облаках прореху, в нее проскальзывают солнечные лучи, и я проваливаюсь в знойное лето.

«Джама-а-а-а-айка!» — вырывается из репродукторов и несется над Чертороем, усиливая солнечный жар. Днепр лениво колышется, покачивая плоскодонки, слизывая песчаные замки у кромки воды. Мама заплыла далеко. Дальше всех. Еле видна голубая точка резиновой шапочки. Папа учит меня плавать на байковом одеяле, в ивовом кружевном шатре.

Я уже выучила про кроль (потому что у соседей кролики в сарае живут), про баттерфляй (потому что мы в оперу ходили), теперь осваиваю брасс. Лежу на пузе и делаю руками-ногами, как лягушка. Папа недоволен. Я делаю неправильно.

Возвращается мама. С ее жатого купальника текут ручьи. Купальник внутри простеган тонюсенькими резиночками. Они собирают материю в семь миллионов складочек. Я-то знаю. Давно приспособилась их вытаскивать из старого. К ним прицепляется шарик из скомканной газеты, обернутый фольгой от шоколадки. Шарик скачет, только резиночка быстро рвется. Приходится добывать другую.

Мы бежим учиться плавать по-настоящему. Мама глубоко зашла: вода ей по грудь. А мне будет с ручками, наверное. Не проверяю. Немножко страшно, но несильно. Мама крепко держит. По берегу бегает папа и кричит: «Ненормальная! Куда тебя понесло? Ты ее утопишь!» Мама привычно не обращает внимания. Папа переключается на меня: «Булка! Слушай сюда! Голову опусти под воду! Вместе с ушами! И делай синхронные движения от себя! От себя! Раз! Раз!» Я не знаю, что такое синхронные движения. И голову в воду опускать боюсь. Там же ничего не видно.

Барахтаюсь изо всех сил и не замечаю, что мама меня отпустила. «Она плывет! Булка поплыла!» — восторженно кричит мама. Папа радуется на берегу.

А я плыву в нарушение всех правил, задрав голову к солнцу, жмурясь под брызгами воды и света.

В понедельник машина готова. В салоне пахнет краской, но это не беда. Включаю магнитолу, и мы с Робертино уезжаем. До города близко, но достаточно, чтобы обнаружить застрявший на одной песенке диск. Она упрямо повторяется, но ничего сделать на ходу не могу, а остановиться негде. Злюсь. Может, я хочу про sole mio. Или про попугая. Вот деятели! Слушали двое суток одно и то же. Радовались, наверное. А что? Действительно трогательно. Незатейливая мелодия, детский хрустальный голосок, поющий про пикколино. А еще — про маму и папу.

ПАРУСА, МОРЯ И РЕСТОРАНЫ

Ужин задерживали. Официанты выносили столы на газон. Скатерти трепетали под порывами морского ветра, хотели превратиться в белые паруса. Метрдотель прихлопывал их светильниками, но они по-прежнему норовили взлететь и окончательно смирялись, придавленные посудой. Постояльцы, оттесненные от кормушки шведского стола, возмущались. Но хозяин отеля решил устроить фольклорный вечер на свежем воздухе и устроил. Артисты в национальных костюмах запели о крестьянине и ослике. Наверное. Мы по-гречески не понимаем. Но все равно казалось: ослик цок-цок копытцами по каменистой тропке, солнце прячется за дымчатые горы, крестьянин торопится к молодой жене и нехитрому ужину: брынзе, зелени, красному вину… Кажется, мы проголодались.

Солнце, как в песне, скатилось за горную гряду, невидимое море устало вздыхало, цикады завели монотонное стрекотание. Вознаграждением за терпение стали креветки. Чахлые, средиземноморские, жалкое подобие наших, выловленных в Буссе, но все равно креветки. Мы с мужем набрали, сколько на тарелки поместилось. Соскучились.

За соседним столиком сидели чопорные иностранцы. Прислушались: немцы. Фрау деликатно препарировала ножом и вилкой крошечный деликатес. Долго с ним сражалась, но не победила. Посмотрела в нашу сторону и изумилась. Еще

бы! Над тарелками возвышались легкие груды пустых коралловых панцирей. В ее взгляде сквозил немой вопрос: «Но как?!» Я пожала плечами. Как-как? Просто. Безо всяких ножичков-вилочек. К чему ненужные церемонии? Я в ресторанах как дома. Давно начала. Еще во Владивостоке.

Владивосток — огромный. В нем длинные скрипучие половицы, подоконник, до которого никогда в жизни не дотянуться, и высоченный потолок. По нему кручеными змейками бегут провода, а в них ток.

Во Владивостоке часто идет дождь. Даже когда зима. Мама подставляет ведра и тазы. Дождь роняет тяжелые капли, но промахивается и просачивается ручейками в щели. Ток не любит дождь. Он сердито плюется искрами и трещит.

На подоконнике алоэ растопыривает мясистые колючие листья. Если сломать — будет горький сок. Соком лечат горло и всякие царапины. Во Владивостоке еще много интересного: этажерка с книгами и будильником, тахта, чтобы прыгать, зеркальный шкаф. Только его не разрешают открывать, я в нем один раз потерялась. Сначала спряталась, а потом нечаянно уснула и потерялась.

Во Владивостоке очень холодно. Мама велела сидеть в кроватке под одеялом, пока она печку затопит. И ушла в сарай. В кроватке скучно, но не очень. Через веревочную сетку Владивосток получается в клеточку. У меня есть секрет. Трещины на беленой стене нарисовали смешного человечка. Если долго смотреть через сетку, получается, что он в кроватке, а я — нет. Грох! Ой… Это мама принесла дрова. Кутается в старое пальто, дует на пальцы.

— Замерзла, Булочка? — весело спрашивает мама. — Потерпи, скоро согреемся.

Она выгребает совком вчерашнюю золу из печки и сыплет ее в ведро. Зола пыхает черными облачками. Комкает газету, чтобы дрова загорелись. Но дрова маму не очень-то слушаются: вместо пламени пускают сизый дым. От него щиплет глаза и человечка на стене почти не видно. Наконец печке надоедает капризничать, и она помогает огню прыгать по поленьям. Мама ставит бак, наливает ковшичком воду из ведер. Это будет стирка. Печка большая, даже хватает места для чайника. Его нужно долго ждать.

Вода кончилась, а мне нельзя оставаться с печкой. Мама зовет Хозяйку со мной посидеть, пока она сходит на колонку.

— Слушай, чего она такая синяя? — жалостно смотрит на меня Хозяйка.

— Булка? Да вроде не очень…

— Булка! Да это сухарик какой-то! — возмущается Хозяйка. — Ты ее совсем заморила.

— Ничего не заморила. Ей тут не климат, — оправдывается мама.

Ага, не климат. И никто меня не морит. Хозяйка ничего не знает и говорит. А в Киеве нет никакого климата. Там никто сухариком не обзывает.

Зато во Владивостоке есть море. Я его сделала сама. Нечаянно. Мама постирала и понесла белье на улицу, а корыто на двух табуретках осталось. Кукла захотела купаться — и вот.

— Боже мой! — всплеснула руками мама, и я снова оказалась в кроватке.

Папа пришел, когда никакого моря уже не было. Ужина тоже.

— Совесть у тебя есть? — спросил папа. — Опять читала всякую муру?

— Естественно, — согласилась мама.

— Она не читала! Всякая муга упала в моге, — вступилась я за маму.

Но папа сильно сердится. Непонятно почему. Должен понимать про море. Потому что он моряк. Военный. У него даже кортик есть, золотой. Только его прячут. Папа распахивает форточку и достает авоську, там соль и кулек с пшеном.

— Трудно было хоть кашу сварить? Ну ты даешь!

— Так проводку замкнуло. И дрова сырые…
— Керосинка есть!
— Керосина нет!
— Безрукая! Избаловали тебя в Киеве!
— Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза… — поет мама, гордо вскинув голову.
— В флибустьегском дальнем синем моге
Бгигантина поднимает пагуса! — радуюсь я.
— Трудно было за весь день оторваться от книжки? — кричит папа.
— Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись дня, — мама тоже кричит.
— На пгощанье поднимай бокалы
Золотого кгепкого вина!
— Эгоистка несчастная! — перекрикивает папа.
— Пьем за яростных, за непокорных,
За презревших грошевой уют! — мамины глаза сверкают.
— Вьется по ветгу веселый Годжег,
Люди Флинта песенку поют!

Папа впихивает меня в пальто, нахлобучивает шапку, подхватывает на руки и выбегает из дому.

— Куда ты ее поволок? — мама в одном платье бежит следом.
— В ресторан! — огрызается папа и мчится вниз по склону сопки.
— Мама! Идем с нами в гыстоган! — кричу, подпрыгивая у папы на руках.

Но мама никуда не идет, а смотрит нам вслед, и становится все меньше там, на вершине сопки.

Внизу Золотой Рог баюкает корабли у причалов, но они не спят, а зажигают огни на мачтах. Паруса ловят ветер и уносят фрегаты на простор.

…И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прикрой глаза —
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса…

ХРУЩЕВ И ВАТНЫЕ НОГИ

Лежу на диване и думаю. Читать нельзя, шевелиться тоже. Разбужу шестимесячного сына. Он молчит, когда спит. А спит, когда я лежу рядом. О, блаженная тишина! Муж на работе, дочь в школе.

Смотрю в потолок. По нему плывут легкие перистые облака, сгущаются в кучевые, а потом становятся черными, грозовыми. Кажется, мы горим. Вскакиваю, бегу к входной двери и распахиваю ее. Вот этого делать не стоило. Врываются непрошеные клубы зловонного дыма. Захлопываю дверь и прислоняюсь к стене. Ноги не держат. Так. «Спокойствие, только спокойствие», — как говорил мой любимый литературный герой. Без паники. Будем спасать ребенка. Я в трудные минуты превращаюсь в бесформенную массу, неспособную думать и шевелиться. Поэтому изо всех сил заставляю себя мобилизоваться. Действовать решительно, как показывают в кино.

Срываю с петель дверцу шкафа, аккуратно ставлю рядом, а не бросаю на пол. Уже могу собой гордиться. Достаю одеяло, раскидываю на полу. Закатываю сына,

как рулет, и выношу на балкон. Холодно, но в комнату возвращаться нельзя. Там неизвестно что. А тут нас спасут. Приедет пожарная машина, завывая сиреной, выдвинет лестницу до самого пятого этажа, и бравый молодец возьмет ребенка в надежные руки. А сын даже не проснулся. Дрыхнет как ни в чем не бывало. И чего он полгода голову морочил?

Никакой красной машины нет. Зато есть соседка. Кричит снизу:

— Чего стоишь? Уже все потушили!

— Что случилось?

— В коляску бычок кинули, хулиганье проклятое! Домой иди, простудишься!

Вечером рассказываю маме про наши дневные приключения. Узнав, что я собиралась швырять ребенка на соседний балкон, она всплескивает руками:

— Ты социально опасный элемент! Как ты до этого додумалась?

— Я не додумалась. Вообще думать не могла. И ноги стали ватные…

— Как можно быть такой размазней? Что значит «ватные ноги»? — сердится мама.

А я сижу в кухне на табуретке, запрокинув голову назад. Неудобно, но терплю. Мама заплетает косу. Надо быть красивой, потому что скоро придет папа и возьмет меня оцеплять Хрущева. Папины матросы уже стоят в строю, чтобы Хрущев не убежал. Потому что все хотят на него посмотреть.

На палубе матгосы
Кугили папигосы,
А бедный Чагли Чаплин
Окугки подбигал…

— Не качайся на табуретке. Упадешь, — мама дергает волосы расческой.

— А Хгущев великан? Такой с усами и богодой? Как Кагабас-Багабас?

— Что за глупости? Маленький, толстый, лысый. Да не вертись же! — спохватывается мама.

Она так всегда делает, если скажет что-нибудь недетское. Сразу про другое начинает. Я не верчусь. Я пою:

Я усики не бгею,
Большой живот имею,
Хожу по гестоганам
И лажу по кагманам…

Мама поворачивается к столу, чтобы взять ленту, и я лечу с табуретки. Прямо подбородком на железный штырь. Он торчит из дверцы подпола. Мои руки и нарядное вышитое платье становятся красными. Мама медленно садится рядом на пол и смотрит. Ее огромные карие глаза становятся еще больше, а лицо белое, как известка.

Папа кричит с порога:

— Давай бинт! Где у нас зеленка? Чего расселась?

— Не могу… Ноги ватные… — еле слышно шелестит мама.

Папа хватает полотенце, прижимает к моему подбородку. Накидывает на меня одеяло, потому что осень, а одеваться некогда. Берет на руки и несет в больницу. «Скорая» все равно не приедет. Автомат на углу трубку потерял, и улицы перекрыты. Папа быстро бегает. Золотые листья шуршат и испуганно разлетаются. Клены расступаются, отводят в стороны ветки. Далеко внизу ползет по дороге

черный блестящий жук без спины, в нем катается лысый человечек. Вдоль обочин колышутся толпы, выплескиваются на крыши и деревья. Им плохо видно. А нам видно хорошо. Только мы обгоняем. Папа бежит быстрее, чем жук. Его парадный белый китель покрывается красными пятнами.

Мне ни капельки не страшно. У меня еще все впереди. За тысячи километров, в украинском селе, лежит в люльке под калиной мой шестимесячный муж, смотрит на красные ягоды и смеется.

ВРУБЕЛЬ, ДИКАРИ И НУФ-НУФ

Мы пришли в Третьяковскую галерею, чтобы я не выросла дикарем. Там нарисовано синее-синее и разноцветные леденцы.

— Тоже умею!

— Талантливый ребенок! — восхитился папа. — Это же Врубель.

Папа огляделся, выбрал девушку с прической «Бабетта идет на войну» и рассказал ей про картину, а то она не знает.

— Между прочим, замысел у него родился в Киеве.

— Но писал-то он в Москве, — пожала плечами девушка.

Я на стороне папы. В Киеве все родятся. У нас там родился братик. Мы с мамой приехали, немножко подождали, и он родился.

— Тоже умею гисовать Вгубеля!

— Моя старшая дочь, — торжественно сказал папа.

Раньше я была просто дочь, а теперь стала старшая. Жаль, что братик с мамой в гостинице остались, им бы Врубель понравился.

— Очень приятно, — рассеянно кивнула девушка и зацокала каблучками, но папа спросил:

— Вы умеете делать тефтельки?

— Что-о-о?!

— Тефтельки. Куриные.

— Н-не знаю…

— Тогда вы должны поехать в Киев. Поезжайте немедленно. Там Фира Наумовна, она умеет делать просто божественные. Минуточку! — он хлопает по карманам, достает записную книжку и огрызок карандаша. — Ваш телефончик! Позвоню и сообщу точный адрес. Или нет. Выясню рецепт и расскажу. Только умоляю: никому!

Девушка послушно диктует номер. Папа записывает и прощается:

— О ревуар, мадам! Ах, пардон, мадмуазель! Так я позвоню. Тайна рецепта тефтелек нас свяжет навеки!

И мы бежим, потому что нам некогда. Надо братика с мамой из гостиницы забрать, заехать в «Детский мир», там хорошие вещи выбрасывают, и успеть на самолет. Мы во Владивосток опаздываем.

В «Детском мире» ничего не выбросили. Зато повесили смешные одежки. Розовые и голубые.

— Это же комбинезоны! — сказала мама. — Какое счастье! Пожалуйста, дайте один вот на эту девочку.

Меня впихнули в розовый по очереди. Сначала ноги, потом руки, потом голову. И застегнули. Внутри оказалось жарко и тесно.

— Нуф-Нуф какой-то… — расстроилась мама. — Дайте тогда голубой.

— Хочу гогубой! Как Вгубель!

— Голубой для мальчиков, — строго сказала продавщица.

— А у нас мальчик как газ есть! — закричала я из комбинезона.

— Этот? — продавщица посмотрела на сверток с голубым бантом. — На маленьких не шьют.

— Ну и ладно, — мама вытряхнула меня из Нуф-Нуфа, и мы пошли искать папу, потому что он потерялся. Нашелся, где игрушки продаются. Он был занят. Учил продавщицу дудеть на трубе. У нее уже хорошо получалось, потому что папа стучал на барабане. Мама сунула ему братика, и концерт закончился. Жалко. Но все равно надо было бежать, а то самолет улетит без нас…

В Шереметьево прилетели ночью, набитые по самые макушки пирамидами, сфинксами, фараонами, мумиями. До рейса на Сахалин почти сутки. Вот и хорошо. Дождемся утра и поедем гулять по Москве. В Третьяковку сходим, сто лет там не были. Носимся по городам и странам, все музеи мира в голове перемешались. А все-таки перед какой картиной папа пел оду тефтелькам? «Демон»? «Сирень»? «Шестикрылый Серафим»? Везде леденцово-лазурное… Нет, кажется, «Серафим» в Русском музее…

— Ты не помнишь, что из Врубеля в Питере выставлено?

— Да я только лошадку помню. Мы еще по площади катались, — сонно моргает сын.

Понятно. В экипаже мы катались у Эрмитажа, а я про Русский музей спрашиваю. Видимо, в его голове тоже все музеи перепутались. Зато есть надежда, что его будущие дети не вырастут дикарями.

МЕТОД ФАРАОНА И БОМБЕЙСКИЙ ФЕНОМЕН

Братик научился ходить, я — говорить букву «р», а подоконник стал гораздо ниже. Рядом с алоэ стояла бутылка чернил. Стояла-стояла, а потом как упадет! Нечаянно. Кляксы разлетелись по полу и немножко по стене.

— Кто это сделал? — спросила мама.

Все-таки здорово, что у нас есть братик. Раньше бы сразу на меня подумали.

— Он!

— И как же он дотянулся? — прищурилась мама.

— Вот так, — я показала, как братик старался изо всех сил.

— Вот я тебе дам ремня! Не за чернила, а за вранье.

Ремня мне еще ни разу не давали. Только показывали иногда. Братик заковылял на нетвердых ножках, принес ремень и протянул маме.

— Ах ты, поросенок! — возмутилась мама. — Сейчас ты получишь. За подлость.

Подлый братик заревел, и я ему помогла. Мы орали, размазывая по щекам фиолетовые разводы, пока мама не увела нас во двор.

Там чужие люди наделали целую гору опилок. Мягко валяться. От опилок остались чурбачки. Скатывают прозрачные слезинки. Им тоже грустно. Как маме. Она опять задумалась, сидит на завалинке и не замечает, что братик приклеился. Не весь. Только ладошки. Я его стала отлеплять и тоже прилипла. Хозяйка принесла сильно пахучую тряпку, потерла руки, щеки и немножко коленки. Фу! И ругалась, что на нас никакого скипидара не напасешься.

Мама не слышала. Смотрела на забор, а там ничего интересного. Под крышей сарая и то лучше. Паук связал кружевную салфетку. Он умеет, как бабушка. У паука ниток много, растерял их по всему двору. Нитки летают и щекочутся. Хозяйка сказала: бабье лето. Почему бабье? Надо паучиное.

Калитка распахнулась и вкатилась коляска. Сама. Новая. Синяя. Потом вошел сияющий папа и скомандовал:

— Свистать всех наверх!

— Р-р-равняйсь! Смир-р-рно! — мне ужасно нравится рычать непослушной буквой «р», прокатывать ее во рту.

— Мальчик? — улыбнулась мама.

— Стопроцентно. Светку утром увезли в роддом, Стасик там под окнами маршрует, а мы с ребятами скинулись и коляску купили.

— А подождать никак? Вдруг будет девочка?

— Вдруга не будет. Я все посчитал. Стасик уже в курсе. Имя выбрал: Александр.

— И как же ты считал? — насмешливо подняла брови мама.

— Спокойно. Все под контролем. Сначала я хотел применить метод фараона. Он приказал женам орошать зерна пшеницы и ячменя. Что раньше взойдет, то и получится. В смысле: ячмень — мальчик, пшеница — девочка.

— Ха! У фараона была тысяча жен. Они могли изобразить оросительную систему.

— Стасику легче. Но дело не в этом. Просто я дал задание ребятам: найти зерна. А они профестивалили. Тогда я вывел формулу.

— $E = mc^2$.

— Не умничай. Посчитал всех знакомых и вывел.

— Булку и Вареника не забыл? Или рисковать побоялся? — рассмеялась мама.

— Шуточки идиотские. Короче: у Стасика сын. И точка. А что я вам принес!

Папа принялся разгружать коляску. Мне — краски, потому что про чернила он еще не знает. Братику — кораблик для луж. Всем кулек с «Дунькиной радостью». Маме — цветы, похожие на китайские фонарики, и красивую коробочку.

— Пэ… рэ… и… Прима! — я уже умею складывать буквы.

— Талантливый ребенок! — обрадовался папа.

Маме давно пора научиться курить. Она отстает от моды. Стыдно перед нормальными людьми. Папа достал белую палочку, чиркнул спичкой и сделал дым. Дал палочку маме и скомандовал:

— Не вдыхай! Набирай в рот и выпускай. Это первый этап.

Тут пришел грустный дядя Стасик, тяжело опустился на завалинку и вздохнул.

— Что? Света? Ребенок? — закашлялась мама.

— Не от меня…

— Да что случилось?

— Девочка. Три семьсот.

— Поздравляю! — мама бросила палочку и обняла дядю Стасика.

— Не от меня…

— Глупости! Кому ты поверил? А коляску поменяем.

— Кажется, вышла ошибочка… — озадаченно сказал папа. — Эх, надо было зерна достать. Метод фараона точнее.

Дремлет в Пуще-Водице сосновый бор, сморенный летним зноем. На рыжих мачтах поникли зеленые паруса. По стволам ползет янтарная смола, застывает прозрачными каплями. Песчаная тропинка устелена хвойным ковром. Мягко идти. Папа отдыхает в военном санатории. Заодно читает лекции на общественных началах. На разные темы. Вчера про международное положение. Оно очень сложное. И в первом ряду сидела милая женщина. Смотрела восхищенно, дурацких вопросов не задавала. Пришлось проводить ее до корпуса и дорассказать то, что не поместилось в лекцию. Два часа говорил, а потом выяснилось, что она глухонемая.

— Хочешь послушать, как море шумит? — папа хватает с тумбочки чашку, прикладывает ее к уху и обливается молоком. — Проклятье! Совсем забыл. Кстати, ты там у себя генетику преподаешь?

— Типа того.

— Великолепно! Давай, объясняй, как по крови родителей определить девочку или мальчика. Это для лекции, на вечер.

Понятия не имею. По генотипам родителей можно выяснить вероятные группы крови детей. Но от папы не отвертишься. Ему нужен материал, а то международное положение кончилось. Приходится произносить умные слова. И даже писать на бумажке.

— Так. Обожди, — папа сосредоточенно что-то вычисляет. — Точно! Не от Стасика. Я-таки был прав!

О Господи! Сашка давно кайфует в Калифорнии, воспитывает близняшек. Тетя Света и дядя Стасик при ней. Не хватало разборок на другом континенте. Можно подумать, папа знает группы крови этой благополучной семейки. Но разуверять его — себе дороже.

— Бомбейский феномен! — пускаю в ход испытанную палочку-выручалочку.

— Это что за зверь?

— Ну, это когда в генах одно, а на деле — другое.

— Никуда твоя генетика не годится. Я же говорил: метод фараона гораздо точнее!

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»

Мама с папой опаздывают на танцы и не замечают, что я тоже собираюсь. Самое трудное — пристегнуть белые чулки, они все время перекручиваются. Платье наделось легко, только пуговицы оказались спереди. Ну вот. Осталось с ботинками справиться. Почему-то плохо налезают и сильно жмут.

— Это еще что такое? Полюбуйся! — сказала мама папе.

А любоваться надо как раз ими. Ах, какое крепдешиновое платье! Яркое, как салют, и немножко шершавое. Его сшили на выпускной вечер в университете. Меня тогда еще не было. Братика тоже. Все самое интересное прозевали. Туфли начищены кремом и отполированы бархоткой. Совсем незаметно, что они старые. Жаль, что без каблучков. Мама стесняется, что сильно выросла, и горбится, когда идет рядом с папой. Он в парадной форме. Гладил брюки через мокрую марлю, шипел и делал облака. И мама хотела поиграть в облака, но он не дал. Сказал, что женщины все портят.

— Да, дела… — папа снял с меня ботинки.

— Не хочу с Хозяйкой сидеть! Хочу танцевать!

— Отставить рев! Ты ботинки перепутала. Как танцевать будешь?

— Ты что, Булку потащишь? — удивилась мама. — Нас не пустят.

— Пустят, — папа затянул шнурки на правильных ботинках. — Если человек хочет танцевать, пустят.

Ага! Все-таки послушались. Мама перевернула на мне платье и завязала на макушке белый бант, огромный, как пропеллер.

В большом зале духовой оркестр накатывает волны вальса. Топчусь у стены на сияющем паркете. Тоже умею! По дощечкам, сложенным «елочкой», скользят сапоги, ботинки, босоножки, туфельки. Их подгоняет музыка. Неожиданно взлетаю почти к сверкающей люстре. Папа! Он кружит как на карусели и напевает: «Плавно Амур свои воды несет…» Какой-то моряк выхватывает меня, делает круг по залу и передает другому, тот — следующему. Подпрыгивает в волнах белый бант, вращается в водовороте. Мелькают сияющие лица, трубы выдувают «па-па-па-па-па…»

На сумрачном Эгершельде взлаивают собаки, гремят цепями за глухими заборами. Кивают ветки, теряют мелкие сиреневые лепестки, пахнут бутылочкой с

полки. Тусклые фонари балуются с нашими тенями, превращая их то в гномов, то в великанов. Под колпачками толкутся бабочки, порхают в танце. Непослушные ноги спотыкаются и заплетаются.

— Плавно Амур свои воды несет, — негромко поет мама и спохватывается: — Устала, Булочка?

— Нет! — не буду ныть, а то никогда больше на танцы не возьмут.

— Наша Булка перетанцевала со всеми офицерами Тихоокеанского флота, — с гордостью отмечает папа и берет меня на руки. Покачиваюсь, уткнувшись в жесткий погон, и засыпаю.

Плещет сонная волна,
Сонная волна плещет,
Величава и сильна…

Столы, накрытые для банкета по поводу книжной выставки, стоят на потертом паркете. Унылые дощечки тоскуют по мастике. Вот бы пришли полотеры и паркет засиял бы, как яичный желток, отражая огромную люстру. Боже мой, я тут была! В этом зале перетанцевала со всеми офицерами Тихоокеанского флота! Сквозь гул голосов, звон фужеров, выстрелов шампанского плещутся «Амурские волны». Танцую с редактором очень хорошего журнала, куда мечтаю когда-нибудь пробиться. Пора начинать мечтать. На выставку я привезла сборник, написанный пополам с папой. С тех пор, как он вышел на пенсию и бросил якорь в Киеве, стал понемножку присылать рассказы, отпечатанные на машинке. Собралась приличная кучка. В качестве сюрприза я насочиняла вторую половину и даже нарисовала картинки. Хотела порадовать папу, но так увлеклась, что книжка поехала на выставку. Нас с папой похвалили, дали диплом, а мне — возможность покружиться в вихре вальса.

Кружиться пришлось недолго. Ожил телефон.

— Сколько ты там еще будешь? Приехала, называется, в кои-то веки, — упрекает дочь.

Не совсем справедливо. Я во Владивосток срываюсь при первой возможности, как только учеба подвернется или командировка. Дочь с внучкой вечно подвывают, что им мало. Зять не подвывает, но поддерживает. Мама должна сидеть дома и варить суп, а не скакать по паркетам неизвестно с кем.

— Скоро буду. Сейчас такси вызову.

— Зачем такси? Я уже приехала.

Окончен бал, погасли свечи. Прощай, редактор очень хорошего журнала! Привет, любимая дочь!

Любимая дочь ведет машину по вечернему городу, залитому огнями. Рассказывает, как она лечит пульпиты и кариесы всякими новомодными инквизиторскими штуками. Я делюсь впечатлениями о презентации, цветах и овациях. То есть умеренных аплодисментах, по-честному. Хочется слегка преувеличить. Мама, ты слышишь? У нас все хорошо.

— Давай на Эгершельд заскочим? — я никогда не возвращалась туда, хотя прилетала сто раз.

— Как скажешь, — дочь включает поворотник, перестраивается в другой ряд.

Эгершельд подмигивает окнами многоэтажек, вспыхивает огнями витрин. Что я ищу? Утлую лодчонку давно унесло, ее место заняли многопалубные корабли, равнодушно плывущие мимо. Где-то в путанице переулков мама несет полные ведра, и вода плещется на ее старенькие туфли.

ЗАЧЕМ НАМ БИРМАМЫТ?

Папа взял штурмом военную академию и решил это дело отпраздновать. Нас подкинули бабушкам, а сами сбежали в Пятигорск. В санатории строго сказали: путевка на одного военнослужащего, а жена не считается. Если все с женами начнут приезжать, получится не санаторий, а цыганский табор. Начнутся разброд и шатание. И никакого режима. Чтобы режим не пострадал, маму пристроили в частный сектор. К сестре-хозяйке. Никуда от этих хозяек не денешься, даже в отпуске. Мама ночевала во времянке на раскладушке, а днем гуляли вместе. Гуляли-гуляли и наткнулись на автобусную остановку. На жестяном указателе еле читалась полустертая надпись: «Бирмамыт».

— Всю жизнь мечтала увидеть Бирмамыт, — захлопала мама в ладоши.

— Это еще что?

— Древняя крепость. Кажется. Помнишь, Печорин туда скакал верхом? А мы только на водопой второй день ходим, как бизоны.

— Бирмамыт… — задумался папа. — Никакой это не Лермонтов. Грибоедов. Точно.

— Да ладно, какая разница? Послушай, как звучит: Бир-ма-мыт… — мама мечтательно посмотрела туда, где облако, зацепившееся за вершину Машука, рвалось полетать.

Стали ждать автобус. Ждали-ждали, нет никакого автобуса. Из-за поворота тяжело вырулило такси, приседая и повизгивая «и-а! и-а!», обдало клубами пыли и остановилось на обочине.

— Антилопа-гну, — прокомментировал папа. — Свободен, шеф?

— Садись, дорогой. Для тебя всегда свободен.

— Эх, прокачу. До Бирмамыта подбросишь?

— Э-э-э, дорогой… — таксист снял кепку, обмахнулся как веером и снова натянул. — Зачем тебе Бирмамыт? Хочешь молодой барашка, шашлык-машлык, вино новый урожай? Пятигорский провал хочешь?

— На провал все билеты проданы, — развеселился папа. — Вперед, на Бирмамыт!

Сначала ехали быстро под бодрое «и-а! и-а!». Потому что асфальт. Потом запрыгали по проселку. Он петлял в расщелине между скал, коварно подбрасывал острые камни и сузился в еле заметную колею. Когда жалобное «и-а» добралось до верхней ноты, водитель объявил:

— Приехали.

— Бе-е-е-е! — проблеяла овца-индивидуалистка, щипавшая выжженную солнцем бурую траву.

Вышли из машины, огляделись. Лысая плоская гора, разбросанные камни, пара чахлых кустарников, дрожащих на ветру.

— Где же Бирмамыт?

— Тут. Бир — один, мамыт — гора. Вместе один гора получается. Все.

— А зачем сюда автобус ходит?

— Почему ходит, дорогой? Раньше село был, все в город поехал, никакой автобус нет. Один объявлений остался. Зачем читал?

— В стране развитого социализма победила всеобщая грамотность, — хмыкнул папа.

— Зато мы побывали на Бирмамыте, — сказала мама.

На обратном пути под капотом закипело. Машина чихнула, фыркнула и заглохла.

— Э-э-э, машинка отдыхать надо, — развел руками таксист.

— Тогда мы пойдем потихоньку, а вы нас догоните. Ой, а как же вы один останетесь? — заволновалась мама.

— Не переживай. Отара есть, пастух есть, полно народу.

Надели белые войлочные шляпы от солнца, кстати купленные накануне, и пошли. Только солнце укатилось, пока до шоссе добрались.

На Кавказе есть гора,
Самая большая,
А под ней течет Кура,
Мутная такая, —

запела мама.

Если на гору залезть
И с нее бросаться,
Очень много шансов есть
Кое с чем расстаться, —

напомнил папа.

Местные мохнатые звезды удивленно внимали ночному концерту. Одна так заслушалась, что упала с черного бархатного неба на дорогу, покатилась с ревом навстречу и ослепила путешественников.

— Заблудились? — спросил мотоциклист.

— Машина сломалась. Мы из военного санатория.

— Садитесь, — мотоциклист решительно развернул железную лошадку в противоположном направлении.

Папа сел на заднее сиденье, мама — в коляску, едва втиснувшись между плетеными корзинами, и помчались, отзываясь эхом в горах.

— Спасибо большое, — сказала мама, когда остановились у гипсовой метательницы ядра. — Какие все-таки грузины хорошие люди!

— Хорошие. Только я грек. А вы откуда будете?

— Из Киева.

— О! Земляки почти. Моя жена тоже с Украины, из села. Шляпу давай.

Насыпал полную шляпу грецких орехов и умчался в теплую южную ночь…

…Многоярусные критские горы изломанной линией вплетаются в небо. Нижние — угольно-черные, средние — графитно-серые, верхние — дымчато-палевые, призрачно сливающиеся с пепельными облаками. Интересно, что там, за ними?

— Море, — пожал плечами муж. — Мы на острове.

— Хочу туда.

— Тебе здесь моря мало?

Мне здесь моря много. Иди, куда хочешь. Хочешь — налево. Хочешь — направо. Но там, за цветными горами…

Расписание автовокзала пестрело десятками названий.

— Поедем в Кириаки. Всю жизнь мечтала увидеть Кириаки.

— Это еще что?

— Не знаю. Но как звучит…

Автобус натужно ползет вверх по серпантину. Горы по обе стороны подступают, почти смыкаются. Склоны усыпаны фантастическими камнями, будто древние колоссы играли в кубики и поленились убрать. Многие держатся на честном слове, готовые прихлопнуть автобус как букашку. Жужжащая букашка бесстрашно проползает перевал и катится вниз. Глыбы сменяются белыми домиками, сбегающими к лазурному морю.

Овцы неподвижно стоят, уткнувшись нежными носами в стволы олив, прячутся в зыбкой тени. Буйная зелень садов внезапно останавливается, добежав до прибрежного песка.

Накупавшись в прозрачных водах, садимся на поваленный ствол эвкалипта, едим истекающие соком апельсины. Берег пуст. Лишь пожилой бронзово-загорелый грек в шортах и пиратской бандане учит внука управлять лодкой. Солнце садится, весло зачерпывает расплавленное золото, стекающее сверкающими каплями. Дед с внуком дружно выталкивают узкую лодку на песок. Я смотрю на старшего. Глупости, конечно, но где-то в Греции живут родственники мужа. Тетя вышла замуж за грека, жила с ним на Кавказе, родила двух детей. Они уехали и пропали, когда началась перестройка и Кавказ взорвался междоусобными войнами.

Пожилой грек, заметив мой пристальный взгляд, велит внуку отнести нам лепешку. Мальчик прибегает, блестя любопытными черными глазенками, протягивает пресный хлеб.

— Эфхаристо.

Я вкладываю в его ладошку горячий апельсин. Конечно, он не наш троюродный племянник. Но стоюродный — точно.

ПТИЦА СЧАСТЬЯ

На улице Лизы Чайкиной вода льется прямо из стены, к ней кран приделан. И нет никакой печки. Зато целых три соседки. Бабушка, мама и моя ровесница Галя.

Только с ней не разрешают играть, потому что мы с братиком невоспитанные. Орем, как резаные, и носимся по коридору, как Мамай. Галина бабушка прошмыгивает в комнату и плотно задергивает на двери занавеску с бомбошками, чтобы мы не увидели телевизор. А у нас-то уже есть! С толстой линзой. За ней, как в аквариуме, плавает балет. Приехала наша бабушка, чтобы купить телевизор, печь сухарики с изюмом, вышивать подушки-думочки и следить за братиком. За мной следить не надо, я уже взрослая. Меня оформляют в детский сад. Я сначала не хотела оформляться, но потом пообещали: обойдемся без уколов. Это Галя все перепутала. Она всю дорогу болеет, и к ней приходит медсестра с гремучей блестящей коробочкой. Еще Галя сказала, что нужны прививки. А бабушка как раз все прививки из Киева привезла. У нее их навалом. Она в поликлинике раньше работала и остались связи.

Из Калинина в Москву ездит поезд за настоящими белыми батонами и докторской колбасой. Мама собралась рано утром, мы еще спали. Папа занят, ему тяжело. На нем лежит вся художественная самодеятельность военной академии. К вечеру он вырвался, и мы отправились на вокзал. Успели. По перрону навстречу хлынули мешочники. Так сказал папа неправильно. Надо говорить рюкзачники. Или сеточники. Или сумочники. Наша мама — сумочница. Усталая, растрепанная, в сбитом платке. Еле сумку дотащила и плюхнула нам под ноги.

— Фантастика! Невероятное везение! — мама распахнула сумку, приглашая нас порадоваться. — Смотрите! «Очарованный странник»! «Конек-Горбунок»! Три тома Бунина! Диккенс! Не поверишь: «Букинист» подвернулся совершенно случайно, как в сказке. Там еще Баратынский был и…

— А колбасы там случайно не было? — перебил ее папа.

— Какая колбаса? Я бы все равно не успела. И деньги кончились.

— Суду все ясно. И что мы скажем маме?

Папа поправил фуражку, порылся в карманах и нашел три бумажные денежки: желтую, зеленую и красную. Целый светофор! Осмотрелся и бодро скомандовал:

— Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе!

Тетенька, сгорбленная под тяжестью рюкзака, приостановилась, глядя на два ряда начищенных пуговиц. Подумала, что наш папа какой-нибудь важный генерал.

— Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер! — провозгласил папа и добавил: — А народ и армия, между прочим, едины.

Тетенька остолбенела, но папа взмахнул деньгами, указывая на маму:

— Эта гражданка не потеряла ум, честь и совесть. Но! Потеряла продукты.

— Сперли? — догадалась тетенька.

— История об этом умалчивает. Но дети голодают. Дети лишены простых человеческих радостей.

Мы с братиком хлюпали носами. Мама приехала — и никаких конфет.

— Ах ты, Господи! — тетенька повернулась спиной к киоску «Союзпечать», пристроила рюкзак, ловко высвободилась из лямок и расслабила веревку, стянувшую рюкзачное горло. А там! Скатерть-самобранка. Три тысячи колбас, пять тысяч батонов, кульки, банки, свертки и скрюченные куриные ноги вверх тормашками.

В обмен на светофорные деньги нам дали французских булок с хрустящей коричневой спинкой, целую колбасищу и даже курицу. И мы пошли, провожаемые причитаниями:

— И что ж это делается! Среди бела дня лишили пропитания такую приличную семью!

— Мир не без добрых людей, — задумчиво сказала мама.

— Особенно за тройную цену, — хмыкнул папа. — Это же спекулянтка, за версту видно.

— Вечно ты все опошлишь. Человек от чистого сердца, а ты…

— А ты наивная идеалистка!

— А ты циник и грубый материалист!

— А ты…

— Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться! — закричали мы с братиком, потому что уже вошли в подъезд, а при бабушке ссориться нельзя.

— На! — братик протянул бабушке синюю птицу, безвольно болтающую головой на морщинистой шее.

Бабушка выслушала наш коллективный рассказ с папиными комментариями, печально вздохнула и сказала маме:

— Ума не приложу, как ты жить будешь?

После работы я на всякий случай забежала в магазин. По привычке. Перестройка начисто вымела полки. Но сегодня повезло. Выбросили кур. Синих, жилистых, недоощипанных. Очередь боролась за справедливость. Больше одной куры в руки не давать. Несмотря на разумные меры, на мне все кончилось. Как всегда. Что там у нас дома? Немного риса, рожки и сухое молоко. Остатки гуманитарной помощи от японского народа. Неожиданно меня посетило вдохновение. Решительно толкнула дверь подсобки и нагло заявила первой попавшейся продавщице:

— Я от Федора Петровича. Мне тут продуктовый набор приготовили, надо забрать.

Продавщица деловито кивнула, метнулась за угол и притащила увесистую матерчатую сумку. Я торопливо отсчитала три миллиона и вышла. Ура! Сработало! Как всех накормлю! Но сначала к маме. Взлетела на пятый этаж и забарабанила в дверь.

— Ты чего такая лохматая? — спросила мама.

— Не спрашивай. Продукты достала. Давай делиться.

Я принялась выгружать сокровища на кухонный стол. Две курицы. Ого! Масло сливочное. Ух ты! Тушенка! Сгущенка! Бычок в томатном соусе! Чай со слоном! Колбаса?! Ничего себе!

— Все-таки гласность — великая вещь. У меня прямо глаза открылись. Вот, послушай, — мама полистала раскрытую книгу и зачитала вслух откровения модного писателя с цитрусовой фамилией. — Это же новое слово в литературе! Какие мысли! Какие чувства! Свежо, талантливо, правдиво. Я многое поняла о вашем поколении.

— Ты еще жену его почитай, больше поймешь.

— Как ты можешь так говорить? Откуда в тебе это провинциальное ханжество? Он мне такие горизонты открыл, прямо дух захватывает! Вот что значит свобода! — она плотней запахнула на груди старенькую шаль. Холодно у нее. Батареи чуть живые.

— Ма! Колбаса! Тушенка!

— Где ты это взяла?

— А, сказала в магазине, что от Федора Петровича.

— Кто такой Федор Петрович?

— Понятия не имею.

— До чего ты докатилась…

Мама взяла беломорину, чиркнула спичкой и отвернулась к окну. Я устало опустилась на колченогую табуретку. Ох… Стены закоптились, рамы прогнили, половицы рассохлись. Ремонт надо бы. Да как его осилить?

— Ма! Курица…

Мама повернула голову и с сожалением посмотрела на меня.

— Боже мой, и как ты дальше жить будешь?

ЧАРЛИ ЧАПЛИН И КОМАНДНЫЙ СОСТАВ

Мама должна проявлять сознательность и показывать пример другим женам. Они отлынивают от репетиций. У слушателей военной академии голоса сильные. Командирские. А вот слух подкачал. Слух может спасти облагораживающее женское начало. Я тоже должна участвовать во всяких сценках. А братик не должен. От него неизвестно что можно ожидать. Он уже опозорил папу. На демонстрации.

Пришли пораньше, а то папа не успеет выдать ветки с розовыми цветочками. Мы с бабушкой их целую неделю вырезали из гофрированной бумаги, сворачивали в бутоны и прикручивали тонкими медными проволочками. Все пальцы искололи. Еще папа раздает портреты на палочках и длинные кумачовые транспаранты: МИРУ — МИР, МИР, ТРУД, МАЙ и ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Я подсмотрела, как художник делал для букв линейки. Намазал суровую нитку мелом, натянул, будто тетиву, и отпустил. Чпок! Нитка об ткань ударилась и оставила след, прямой как стрела. Еще раз чпок! — и вторая линия готова. Теперь буквам не вырваться.

Шарики, флажки и кукурузины из папье-маше папа не раздает, у него не сто рук. Шариками и флажками распоряжаются тетя Зина, тетя Алла и наша мама. Они сегодня красивые. С высокими прическами. Я знаю, как делать. Надо взять прядь волос и быстро-быстро делать расческой сверху вниз. Называется начес. Когда вся голова станет ведьминой, надо щеткой пригладить, только не сильно, а то все труды насмарку. И заколоть сзади шпильками. У Зины и Аллы волосы почти белые, клубятся, будто легкий дым, и просвечивают на солнце. У мамы — черные. Ничего не просвечивают, блестят себе — и все. Из-под воротников пальто выпущены прозрачные газовые косынки с блескучими полосками. Зина с Аллой губы накрасили, как сказал папа, революционной помадой. Маме нельзя, она и так чересчур яркая.

Настроение прекрасное! Радио марш играет на всю улицу, ему мешают баяны, губные гармошки и поющие люди. Папа разрывается на части. Одной рукой раздает и отмечает, другой братика держит. Отпустить нельзя: кое-где еще не просохли лужи. Хорошо, заборов нет с гвоздями.

Какие еще заборы в центре города, возле военной академии? Она принарядилась. Между высокими белыми колоннами висит гигантское полотнище с тремя профилями: бородка, борода и бородища. Окна закрыты портретищами тех же бородачей, но уже разлученных. Наверное, комнаты залиты багровыми сумерками. Не страшно, можно электричество включить.

Папа не теряет времени даром. Учит братика, как зовут вождей. Хочет похвастаться, какой у нас мальчик талантливый, делает успехи в политической подготовке. Зря. Не знает, что вчера его бабушка учила про Васнецова и трех богатырей. У него и так в голове каша с винегретом. Папа подошел поближе к командному составу, показал на самый бородатый портрет: «Скажи, сын, кто это?» Братик радостно закричал: «Чарли Чаплин!»

Теперь надо вечером выдать здоровский концерт, чтобы реби… либи… короче, чтобы командный состав убедился в папиных способностях. Он сам сочиняет сценки и объявляет номера, как заправский конферансье. Еще руководит, чтоб хор пел громко, ансамбль танцевал задорно, оркестр дудел бодро. Учит хормейстера, хореографа и дирижера, как надо правильно. Все время хватается за голову и мычит, будто у него зубы болят, потому что никто ничего не соображает и все разбредаются, как стадо баранов.

Хор старательно уверяет, что Ленин — это весны цветенье, Ленин — это победы клич. А про Карла Маркса не поет. Если б спел — братик бы не запутался. Вон он сидит в третьем ряду, справа. С бабушкой. Я его хорошо вижу в дырочку занавеса. Сильно сердитый. Ему строго-настрого запретили открывать рот. Хватит с нас уже Чарли Чаплинов.

Но лучше бы его в коляску посадили. Вместо меня. Я в ней еле помещаюсь. Приходится сворачиваться калачиком и терпеть. Папа придумал миниатюру, чтоб при академии ясли сделали. Детский сад есть, а яслей нет. Некоторые жены этим прикрываются. После того как папа и Зина укатают коляску по сцене туда-сюда, а то им некогда ребенком заниматься, я должна закричать:

Товарищи! Граждане! Люди!
Когда у нас ясли будут?
Я не могу, как в сказке,
Жизнь проводить в коляске!

Меня запихали на место заранее. В конце антракта. Со мной надо соблюдать технику безопасности. Могу исчезнуть в самый ответственный момент. Ждала-ждала за кулисами выхода (ой! то есть выезда) и уснула. А зачем Алла три часа сонно пела: спи, мое сердечко, спи, как я спала? На сцене меня вытащили из коляски, и я спросонок заныла: «Не хочу никакие ясли…»

Дома папа сильно ругался. Я испортила режиссерский замысел. Мама посоветовала — пусть он Зину в коляску засунет, а ребенка оставит в покое. И вообще, она больше в хоре завывать не намерена, тем более что басы безнадежны. Басы не спасет никакое облагораживающее начало. И петь из-под палки унизительно. И она сама решит, чем заниматься. Она собирается посещать кораблестроительный кружок. Или авиамодельный, еще не определилась окончательно. А еще ее в данный момент интересуют залежи страшно полезных ископаемых в Калининской области и творчество бразильского писателя Жоржи Амаду.

Папа обиделся и сказал, что он тоже о многом мечтает. Например, научиться играть на гитаре. Шестиструнной. Но вместо этого выполняет ответственное поручение. Для него общественное выше личного. А некоторые несознательные вместо помощи бесполезные ископаемые ищут и спят на сцене!

Братик закричал — это Булка не умеет! Я умею! И в доказательство с выражением продекламировал:

Камень на камень,
Кирпич на кирпич.
Умер наш Ленин,
Владимир Ильич!

Папа возмутился, что никакой поддержки в собственном доме! На что бабушка заметила — зато из-за нашей Булочки хохотал весь командный состав. Но папа сказал — это частности. Главное — загубили дело всей его жизни…

…Дело моей жизни — рассмешить журналиста. Он скучает в жюри. Я его хорошо знаю. Заочно, по публикациям. Тонкий юмор, высокая культура и глубокие познания в сфере искусства отличают его. А меня он вообще не знает. Я-то его вижу в дырочку занавеса, а он меня — нет. Не подозревает, что я неотступно думаю о нем. Пишу сценарии исключительно для него. Иногда кажется, что он вот-вот запоет как опереточный герой с цветочной бутоньеркой в петлице: «Напрасны ваши совершенства, их вовсе недостоин я». Когда зал взрывается восторгом, он равнодушно выполняет тягостную повинность. Выставляет нам неизменные пятерки. Уж лучше бы трояк закатал. Или даже единицу. Высшие баллы унизительны, поскольку выдаются снисходительно-пренебрежительно. Мол, пусть детки чирикают всякую чушь. Это отвлекает их от еще более плохих дел.

Десять лет длится невидимая война. Десять лет наша легендарная команда держит в Клубе веселых и находчивых первое место. Десять лет дергаю марионеток за ниточки, заставляя говорить, петь и танцевать строго по сценарию, подавляя в зародыше любое проявление бунта. Студенты получают дипломы и уходят. Приходят новички. А я остаюсь. Мне деваться некуда: журналист по-прежнему невозмутим. И какого рожна ему надо? Я ли не стараюсь? Я ли не отодвинула на второй план лекции, семинары, поурочные планы, детей и, между прочим, мужа? Я и сценарист, и режиссер, и хореограф, и художник, и реквизитор (от слова «реквизировать». В гостях хищным взглядом окидываю то, что не успела спереть в предыдущие визиты. Хозяева пугаются и отвлекают чаем с сушками. Рядом, плечом к плечу, стоит добрая половина педагогического состава, но я, как генерал Шерман, готова все бросить в пучину войны. Вперед, дети Отчизны! (Ой, это уже, кажется, «Марсельеза»!) Вперед, под мои знамена! Победа будет за нами и враг (друг?) будет наголову разбит и засмеется, наконец!

После каждой победы ребята ликуют, но я напоминаю: «ОН не смеялся». Звучит это зловеще. Прямо как memento mori.

Но однажды Лена, главный генератор идей (я не всегда главная, это меня одержимость подкидывает и заносит на виражах), придумала: а давайте покажем «Санту-Барбару» на украинском телевидении! А давайте! Правда, я это мыло не смотрела. Но Лена все подробно объяснила: кто, с кем, когда. Пришлось составить генеалогическую структуру, чтобы не запутаться. И девочка Наташа из Полтавы нашлась, второкурсница. Такая Наталка-Полтавка в веночке, вышитой сорочке, картонном телевизоре. Переводила страсти-мордасти с английского на украинский. «Хау-ду-ю-ду» — «Здоровэньки булы». «Ху из ит?» — «А цэ хто?» В завершение

девочки в декольтированных вечерних туалетах и мальчики в смокингах лихо запели, приплясывая: «Гоп, кумэ, нэ журыся, туды-сюды повэрнысь!» Зал бушевал. Но самое главное — смеялся! Смеялся наш стойкий журналист.

Маме тоже очень понравилось. Она всегда сидит в третьем ряду, справа.

БАНДИТСКИЙ ПРИТОН И ДРУЖБА НАРОДОВ

Сначала у нас дома был вокзал, потом дурдом, а теперь бандитский притон. Так думает Галина бабушка. Она против дружбы народов. Народов у нас каждый вечер полно. Папины однокурсники из стран социалистического лагеря. Их надо приобщать к советской культуре: угощать и учить нашим песням. Пока немцы, венгры и болгары пели «Подмосковные вечера», «Катюшу» и «Рябину кудрявую», были вокзал и дурдом. Когда пришли поляки, сразу получился бандитский притон. Но они не виноваты. Просто вчера сломался унитаз. Цепочка оторвалась и дергать не за что. Папа немножко погремел и постучал, а потом Галина бабушка привела соседа с третьего этажа и сказала: пополам. С вас рубль пятьдесят.

Поляки не захотели петь про вечера и рябину. Захотели что-нибудь современное. Ха! У нас этого — сколько хотите. Вообще-то, первая начала я. Наверное, повлияло вчерашнее событие. Родители с братиком подхватили:

Все соседи в страшном горе
Собралися в коридоре.
Как у нас! Как у нас!
Поломался унитаз!

Эта песня очень крикучая. Вместе! Громко! Как у нас! Как у нас! И еще надо стучать по столу в такт. Затанцевали бутылки, запрыгала посуда, зазвенели вилки и ножи. Поляки обрадовались и тоже стали стучать и кричать: как у нас! как у нас! поломался унитаз! Повторили несколько раз, чтобы они запомнили как следует, и продолжили:

А сосед сердитый Гога
Говорит довольно строго:
«Так и быть, в последний раз
Я вам склею унитаз!»

Ой! Вчерашний сосед тоже что-то про последний раз говорил. Мы вдохнули побольше воздуха и завопили с новой силой:

А соседка Марья Ванна
Встала утром рано-рано,
И, вскочив на унитаз,
Поломала еще раз!

Ба-бах! Хлопнула соседская дверь.

— Нас сейчас в милицию сдадут, — засмеялась мама.

— А, вшистко едно, — отмахнулся папа. — Время детское. Всего семь часов. Сейчас мы идеологии подпустим:

В мире ни одна зараза
Не живет без унитаза,
Потому я свой сортир
Отдаю борьбе за мир!

Галину бабушку борьба за мир не волнует. Она с нами теперь не разговаривает. Разговаривает с потолком. Ему рассказывает про бандитский притон и безобразие, что детей со взрослыми за стол сажают. Интересно, а куда нас сажать? Галина бабушка только вьетнамцев уважает — за то, что они по гостям не шляются. Наоборот, меня по воскресеньям забирают. Я люблю вьетнамцев. Они гораздо ближе остальных взрослых. Голову не так высоко приходится задирать.

Дядя Ван всегда стоит у порога, кланяется. Ждет, пока меня причешут и нарядят. Вьетнамцы собираются за большим столом в общежитии. Дежурный повар в накрахмаленном колпаке и белом фартуке раскладывает по тарелкам рис, а жгучие штуки все берут сами из кукольных тарелочек. Для меня держат специальную ложку, потому что палочки непослушные. Хозяева подкладывают самые вкусные кусочки, улыбаются, а глаза почему-то грустные. На сладкое мне дают пирожное на блюдечке и громадную чашку какао с молоком, а потом показывают фотографии. Они плохо знают русский, но все равно понятно: это сын, ему пять лет. Это дочка, ей восемь. Это, в смешной шапочке конусом, жена. Однажды они уехали домой на каникулы и не вернулись…

…Нам подкинули рабочих из Северной Кореи. По-русски ни бум-бум. А прораб смылся. Наплел с три короба про сказочный ремонт, взял солидный аванс и улетел отдыхать. Эй! Мы так не договаривались! И что мы должны делать с этими двумя тощенькими, перепуганными, похожими на подростков иностранцами? Прорабу хорошо: он под пальмами. Мужу хорошо: он на работе. Ребенку хорошо: он в универе. А мне плохо: я в отпуске.

Напоследок прораб, уже стоя одной ногой за порогом, дает ценные указания: рабочих кормить два раза в день. Здравствуйте, пожалуйста! Делать мне больше нечего! Я, между прочим, повесть пишу — это раз. Кухня уже разгромлена — это два. Готовить терпеть не могу — это три. А сами мы планируем обедать в кафе — это четыре.

Два раза в день перерастают в четыре. Не могу спокойно смотреть на этих заморышей. Работают как заведенные. Адская машина с ревом вгрызается в бетон, все пять этажей сотрясаются, слабонервные соседи прибегают ругаться. Врывается девица (первый раз вижу, она новенькая) и, кометой пролетев мимо меня, кидается на рабочих с воплями. Накричавшись, убегает. «Плохая девочка», — философски изрекает Дима. Он, по-видимому, главный. Командует Сережей, тот покорно подчиняется. Но вкалывают они на равных. В жизни не видела, чтобы так набрасывались на работу. Как одержимые, без перекуров и выходных, с утра до ночи. Кроме субботы. По субботам обязательное собрание, поэтому заканчивают засветло. Надо успеть собрать деньги государству за то, что отпустило на заработки. Им остается всего ничего.

Все-таки хорошо, что я в отпуске. Машина под окнами, мчится по первому требованию за гвоздями, цементом, песком, краской. Дима (или Сережа) проделывает манипуляции пальцами, приговаривая: о такой. Я ворчу: какой такой, не понимаю, садись в машину. И мы едем в магазин. Там Дима (или Сережа) выбирает очередную железяку, и все счастливы.

В доме время от времени появляются коллеги Димы и Сережи. Приходят на помощь. У них тоже русские имена, чтобы хозяева не заморачивались. Гена не-

плохо говорит. На родине он учитель начальной школы, поэтому учит товарищей, как надо класть кафель и клеить обои. Выясняется, что Сережа — электричество инженер, Дима — стройка инженер. Эх, ребята… Миша появляется ненадолго. Неторопливо кромсает дверь, задумчиво напевает «Подмосковные вечера», искоса хитро поглядывая на меня. Дима с гортанным криком его прогоняет. Дверь надо покупать новую.

Ремонт движется, повесть тоже. Из клавиатуры летит цементная пыль, грохот и скрежет врываются на страницы, но герои уже привыкли к шуму и безмятежно нежатся в своем солнечном лете. Отрываюсь от них поздней ночью: надо везти ребят домой, в ветхий домишко на окраине. Не тащиться же через весь город пешком. Еще привяжется кто-нибудь.

Нет, все-таки хорошо, что я в отпуске. Мы начинаем понимать друг друга. Я хвалю мастеров. Искренне, от души. Сережа довольно внятно произносит: какаву давай. И я бегу за молоком и «какавой».

Сережа приходит через год. Прощаться. Улетает домой. Деловито осматривает трубы, оглаживает обои, обстукивает кафель. Все нормально, спасибо большое. Гость принес подарки: корейскую водку с настоящей змеей, фрукты, сладости. Накрываем стол, беседуем. Сережа достает фотографии. Жена-девочка с нежными глазами, крошечные дети. Маленькие какие, — растроганно вглядываемся в милые личики. Уже большие. Пять лет прошло. Почему пять? Разве нельзя прислать фото? Нельзя. Почта фото нельзя. Интернет нельзя. Телефон нельзя. Одно письмо в месяц можно. Когда опять приедешь? Сережа мрачнеет: не знай. Мы тоже не знай, что ждет его на неласковой родине.

Дарю Сереже книгу на память. Подписываю и дарю. Никогда он не прочитает ее. Но пусть моя повесть будет с ним, женой-девочкой и детьми.

Пусть.

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Эпопея с детским садом затянулась. Сначала бабушка у нас жила всю зиму. Потом в Киев поехали, там Днепр и фрукты. В сад мы попали в середине августа. Братик задержался, ему все равно деваться некуда. А мне недели хватило, чтобы взбунтоваться. Я не хотела все доедать, спать на левом боку, слушаться и слушать сказки про Буратино и Красную Шапочку. Папа поддержал:

— Нечего Булке в саду делать. Пора в школу.

— Кто ее возьмет? — удивилась мама. — В шесть лет?

— Возьмут как миленькие. Сразу в третий класс. Узнают, как она читает, и запишут.

В третий класс меня не взяли. С трудом согласились принять в первый, и то под папину ответственность. Мне срочно удлинили осеннее пальто: надставили подол и рукава. Купили форму, портфель, гладиолусы и целую кучу сокровищ: чернильницу-непроливайку, деревянную ручку с металлической вставочкой, перышки со звездочками и перочистку. Такие круглые тряпочки, скрепленные в центре. Купили зря: мы будем писать простыми карандашами, пока не научимся.

Букварь и прописи обернули калькой. Очень красиво: сквозь хрустящую бумагу просвечивает обложка. Ни у кого в классе нет, а у меня есть. Потому что мама вышла на работу. Мечтает искать породы с геологической партией. Правильно. Партия — наш рулевой. Породы очень трудно искать. Дворовый Шарик беспородный, Жулька из соседнего дома тоже. Надо ехать далеко-далеко.

Но папа с нами не справится, поэтому она никуда не едет, а делает камералку. От камералки остаются ненужные бумаги: миллиметровка в рыжих клеточках, синька в чертежах и калька. Кроме учебников еще можно заворачивать бутерброды на завтрак. С яичницей. Или маслом и сахарным песком. Портфель становится пузатым, и я застреваю в заборной дырке. Вообще-то, застреваю потому, что ношу два портфеля. Пришла первая любовь. Андрюша на полголовы ниже и на полтуловища уже. Отодвигает знакомую доску в заборе, она на одном гвозде висит, и легко проскальзывает. Я пыхчу и лезу следом. Раз! — и мы уже в школьном дворе.

В школе скучно. Если бы не Андрюша — никакого смысла. Ма-ма мы-ла ра-му… Читаю под партой Жюля Верна и Фенимора Купера. Удобно: крышка откидывается, а если учительница подходит — закрывается.

Мама вспоминает, что меня надо развивать. Привозит из Москвы розовые атласные пуанты. У них твердый тупой носок, чтобы танцевать на пальчиках. Папа сомневается:

— Этой даме — только ядро метать.

— Ядра не мечут, а толкают, — возражает мама. — А наша Булочка очень грациозная.

— Проломит сцену, — прогнозирует папа.

— Посмотрим… — не соглашается мама.

Зина сшила балетную пачку из марли. Мама не любит шить. Ее в детстве и юности заставляли вышивать крестом. Она уже нашилась — во как! Мама проводит ребром ладони по шее. Зато так накрахмалила марлю, что пачка стоит дыбом. Как настоящая.

Балетный кружок в академии, поэтому выплываю маленьким лебедем на родную сцену. Точнее, вытупываю: туп-туп-туп-туп-туп-пара-рам-пам! Родная сцена не подвела. Не проломилась вопреки папиным предсказаниям.

— Надо же! — восторгается мама. — Наша Булочка танцует легко, как пушинка!

— Летит, как пух от уст Эола, — хмыкает папа.

— Ой, пожалуйста, только без иронии. Не можешь пережить, что Булка чего-то достигла без твоего чуткого руководства.

— При чем тут руководство? У меня мизансцена страдает, а родная дочь в лебеди подалась.

— И правильно. Ребенок должен гармонично развиваться. А ты у нее звездную болезнь культивируешь. Она уже со мной свысока разговаривает. Короче: никакой самодеятельности. Классический балет — и все!

— И где ты видела таких упитанных балерин? — ехидно спрашивает папа.

— Не видела — так увижу! — уверенно отвечает мама…

…Старательно мою окна. Намываю до хрустального блеска. Ма-ма мы-ла раму… Мой дом должен быть безукоризненным. Он теперь — рама для Владимира Любарова. Я о нем давно мечтала. Причем не как-нибудь отвлеченно, а вполне конкретно. Но не навязывалась. Не в моих правилах первой проявлять инициативу, пусть даже по большой и чистой любви. Вот если бы произошло чудо, и ему в руки случайно попала моя рукопись, и он сам захотел сделать иллюстрации…

Но чуда не происходило, тогда я с горя принялась рисовать. Нет, я не пыталась ему подражать. Кишка тонка. Он — Мастер. А я — так. Черкаю по бумаге, когда слов не хватает. Однажды я узнала, что он не только гениальный художник, но и абсолютно наш человек. Нюша сбросила ссылку на его рассказы в Инете. Вы не знаете, кто такая Нюша? Нюша — реализатор мечт. Рождена, чтоб сказку сделать былью. Ей нет преград ни в море, ни на суше.

Так вот, рассказы меня пленили. Особенно «Почему я не стал верхолазом». Только наш человек, стоя на посту с боевым оружием, способен влезть на высо-

ченную кирпичную трубу неясного назначения. Просто так. А зачем к ней скобы приделаны?

С тех пор я стала мечтать о нем с удвоенной силой. Продолжая жить и трудиться. Не могла же я взять и улечься на диван, предаваясь грезам. И пришла на выставку очень плохого художника, который думал, что он хороший. Поэтому собрал представителей творческой интеллигенции за круглый стол. Для комплиментов. Интеллигенции было много. Две Лены и Нюша. Нюша сказала:

— Можешь встать между Ленами и загадать любое желание.

Я встала, куда велели, с тоской обвела взглядом унылые полотна и выпалила:

— Хочу Владимира Любарова!

Лены засмеялись от неожиданности. Думали, что я верная супруга и добродетельная мать. Не поняли души высокое стремленье. А я не стала объяснять.

Нюша позвонила и назначила встречу в библиотеке. В библиотеку нас не пустили. Ждали визита губернатора. Охранник нас прекрасно знает, извиняется: вас не запланировано. Ничего страшного. Солнышко светит, птички поют. Уселись на лавочке под бдительным оком милиционеров. Они охраняют порядок. Мы его не нарушаем, но стражи подозрительно косятся на Нюшину раздутую сумку. Видят в нас потенциальных злоумышленниц.

Нюша, хитро улыбаясь, достает мою книжку. Ой! Я ее не ждала так быстро. И рисунки вроде на место встали. Эх! Ну ладно… Потом Нюша скармливает мне Вудхауса, Недошивина и Моэма, которых я хотела. (Я многое хочу, Нюше трудно.) А потом не спеша, растягивая удовольствие, извлекает из сумочных недр роскошное издание Владимира Любарова.

— Где ты это взяла?!

— Места знать надо.

У меня нет слов!

Сидим на скамейке. Справа голуби, слева милиционеры. Рассматриваем репродукции. Выхватываем цитаты из текста и заливаемся счастливым смехом. Наш, наш, абсолютно наш! Радуемся. Восторгаемся. И вдруг натыкаемся на балерин. Чудо что за балерины! Не какие-нибудь худосочные. А нормальные, основательные, увесистые. Надежные. Таким балеринам можно доверять.

И кто после этого скажет, что мама была неправа?

ДОЧЬ КОМАНДИРА

Папа прикончил военную академию. За это его повысили, и мы оказались за колючей проволокой. Посреди бескрайнего кукурузного поля спрятались казарма и четыре офицерских домика. В самом дальнем живут холостяки. Папа ходит их шугать, чтоб не пили водку и не водили баб. Интересно, откуда они их приводят? Наверное, из Кринычек. Далеко вести: целых двенадцать километров. У нас только офицерские жены (не считаются) и две телефонистки. Они никакие не бабы, а солдатки. Ходят в военной форме, но в юбках. Когда мама уезжает в Днепродзержинск по делам, телефонистка Люся варит нам с братиком картошку на примусе. Солдат Федя шугает Люсю. Выбрасывает картошку и варит нам другую. Потому что Люся — плохое слово. С ней не спит только ленивый. А кто у нас самый ленивый? Всем известно — братик.

Мы с мамой копаем огород, а он сачкует. Делает вид, будто ловит тарантулов. Они ядовитые и могут укусить, если бегать босиком. Братик тычет в норки прутиком. Тарантул не дурак, его прутиком не выманишь. Надо к толстой нитке прилепить пластилиновый комочек и опустить в норку, тогда он лапками увязнет.

Вчера Шурик с Валеркой почти половину бутылки наловили. Братику лишь бы от работы отлынивать.

Копать тяжело. Я немного приспособилась. Ставлю лопату торчком и со всей силы прыгаю обеими ногами. Иногда получается вогнать ее глубоко в землю. Чернозем послушный как пластилин. Но мы мало вскопали. Если бы мама не прогнала солдат, давно бы закончили. Прибежала Роза ругаться:

— Ты чего выпендриваешься, драга? — «Драга» значит «дорогая». У Розы часто незнакомые словечки проскакивают. Наверное, потому, что она молдаванка.

— Будешь тут до морковкина заговенья копаться.

— Ничего не выпендриваюсь, — мама разогнулась и потерла спину. — Просто неудобно как-то.

— Неудобно штаны через голову надевать.

Роза отобрала у меня лопату и поплевала на ладошки. Раз! Целый пласт земли свалился набок, выпустив на свободу извивающихся дождевых червей. Два! Три! Мама ее прогонять не стала. Все равно день кончился. Солнце сползло в кукурузу, Роза убежала загонять кур, а то рассядутся под кустами, яиц не соберешь. Уходя, мы оглянулись. Сиротливые кучки земли скучали на краю нашего участка.

— Ма… Ну пусть солдаты помогут. Я уже замучилась. Все болит. И мозоли вон какие.

Мама взяла меня за плечо, крутнула к себе и, глядя в глаза, отрезала:

— Подло пользоваться чужой зависимостью.

— Ну все же пользуются…

— Все меня не волнуют. Заруби себе на носу: ты — дочь командира.

Наутро пришли — а огород весь вскопан. Роза притащила целый ящик рассады и всякие семена.

— Это что за безобразие? — спросила мама.

— Безобразие было вчера, драга, — Роза блеснула золотой улыбкой. — Тоже мне, моду взяла — от бесплатной рабсилы отказываться.

— Чтоб больше этого не было!

— Слушаюсь, товарищ генерал! Сажать будем или как?

Мы посадили огурцы, помидоры, лук, укроп и неизвестно что. Вырастет — узнаем. Только надо поливать как следует. Главное — не проворонить водовозку. Такую серую цистерну, приделанную к машине. Приезжает по утрам. Надо бегом натаскать воды в огромный алюминиевый бидон на веранде и в гигантскую железную бочку в огороде. Водовозкой рулит сержант Галиуллин. Называет меня шайтанкой за то, что езжу на лошади без седла. А где его взять?

Днем поливать нельзя. Только рано утром, пока солнце сонное, и вечером, когда усталое. Утром приходим, а под каждым росточком уже влажное пятнышко.

— Уже успокой своих гномов, — возмутилась мама.

— Каких еще гномов? — не понял папа.

— Тех самых, что в огороде пашут. Не гарнизон, а колхоз «Дружба». Ты зачем заставляешь солдат вкалывать?

— Я не заставлял. Честное слово. Разберусь.

— И разберись. А то я уже прямо Салтычиха. Стыд и позор!

— Вот я им хвоста накручу! — разозлился папа.

И накрутил. Даже пригрозил на губу посадить. Но каждое утро земля по-прежнему была мокрой, а бочка полна воды. Наверное, по ночам шел дождь, а мы его не слышали…

…Ночью шел дождь. Шелестел сквозь сон, прилежно отмывал от пыли листву, всхлипывал в лужах, потом развеселился и забарабанил по подоконнику. К утру

угомонился. «Козлик», поднимая волны, приплыл прямо к подъезду. Я еле втиснулась на заднее сиденье — в воинскую часть кроме меня пригласили самодеятельный вокальный дуэт с гитарой в придачу. Правильно: выступать, так с музыкой. И певицы симпатичные: пухленькие, в ярких цветастых сарафанах, с роскошными гривами черных вьющихся волос. Общительные артистки всю дорогу щебетали. Выяснилось, что в свободное от гастролей время они работают воспитательницами в детском саду, а поют исключительно для души. А что еще делать? На этот риторический вопрос я ответить не успела, потому что мы приехали.

Нас ждали. В клуб набился весь личный состав, свободный от несения службы. Майор объявил, что у нас в гостях дорогие гости. И давайте поддержим их дружными аплодисментами. Под дружные аплодисменты на сцену вышел дуэт, а я за кулисами облегченно вздохнула: есть время собраться с мыслями. Не начнешь ведь с места в карьер рассказ читать. Надо что-нибудь умное придумать, пока «мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая в камыши»… Ах, какие чудесные голоса! Сильные, бархатные, завораживающие. Я перебирала листочки с текстами и сначала тихонько подпевала про цыганскую дочь, а потом и не заметила, как стала петь во весь голос. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные… нет, этот рассказ слишком скучный.

«Гори-гори, моя звезда, звезда любви заветная…» — а этот чересчур сухой, романтики не хватает. «Вот мчится тройка удалая…» — и этот никуда не годится, сплошное легкомыслие. «Он говорил мне: будь ты моею, и стану жить я, страстью сгорая…» — может, этот?

Дорогой длинною,
Да ночкой лунною,
Да с песней той, что вдаль летит, звеня,
Да с той старинною,
С той семиструнною,
Что по ночам так мучила меня!

Я самозабвенно пела и плясала, размахивая своими листочками. Бурю оваций остановил голос майора: выражаю благодарность замечательным артистам за то, что они несут культуру и укрепляют боевой дух, и концерт окончен. Солдаты организованно встали, и в считанные минуты клуб опустел. Я вышла из своего пыльного закутка. Майор растерялся:

— Писателя забыли…

— Да не расстраивайтесь, — меня душил смех. — Зато я пела и даже танцевала. «Дорогой длинною, да ночкой лунною!» Здорово!

— Эх… — еще больше расстроился майор. — Незадача вышла. Но вы не переживайте. У нас запланирован обед на базе отдыха. Парадный. Эх, как же так вышло…

— А давайте к нам в ансамбль, — предложили певицы. — Втроем-то мы как запоем!

— С удовольствием!

Домики стоят у озера. Вода застыла как отшлифованный черный агат в камышовой оправе. Распластанные водомерки скользят по гладкой поверхности, судорожно трепыхая лапками, и вода расходится концентрическими кругами. Камыши спускаются с пологого берега, купаются толпой. Певицы тоже хотят. А я — увольте. В это болото не полезу ни за какие коврижки. Того и гляди, из зарослей появится Дуремар с сачком, полным пиявок. Стою на мостках, слушаю кокетливые взвизги.

— Не рискнули? — подчеркнуто вежливо спрашивает капитан. Ему велено развлекать гостей. Приказ есть приказ.

— Да ну… Там крокодилы. И анаконды.

— И бегемоты, — оживляется капитан. — А вы правда писатель?

— Не знаю… Как служба? Говорят, в армии сейчас сложно.

— Говорят, — безнадежно машет рукой капитан. — Наговорили кучу дров. Сделали из нас каких-то отморозков. Вот не поверите: мы с солдатами как няньки носимся.

— Поверю. У меня папа военный…

Стол предусмотрительно накрыт под навесом. Опять моросит. Не дождь — а так, намек. Туман приглушает черное сияние озера, обволакивает осоку, прячет водомерок, только камыши любопытно выныривают и кивают бархатными головами. Рассаживаемся на длинных деревянных скамейках. Майор постарался: угощение царское. Офицеры за нами ухаживают, добросовестно ведут светскую беседу. Дамы любезно снисходят до военной тематики.

— Я так мечтала покататься на танке!

— Организуем, — обещает майор.

— Ой, а я стрелять хочу. По мишеням.

— Организуем.

— А вдруг мы узнаем военную тайну? Мы никому не скажем!

— А правда, что в армию берут умственно отсталых?

У стола суетится солдатик: приносит шашлыки, меняет грязную посуду. Обслуживает как официант, только неопытный. Смущается и оттого неловок. Он совсем мальчик — лопоухий, веснушчатый, худенький. Тоненькая шейка беззащитно тянется из великоватого ворота. Наконец приносит чай и торт, щедро украшенный белыми лебедями и жирными масляными розами.

— Эй, как вас там? — капризно тянет певица.

— Фарид, — испуганно признается солдат.

— Так вот, Фарид. Я. Такие. Помои. Не пью.

Чай действительно слабо заварен. В чашке плещется желтоватая жидкость. Уши Фарида становятся такими же алыми, как розы на торте. Он забирает злополучную чашку и идет в кухню.

— Стойте! — я вскакиваю и бегу за ним. — Фарид, подождите. Давайте сюда. Очень люблю некрепкий чай.

— А вы правда писатель? — робко улыбается солдат.

— Я дочь командира…

ДЕВУШКА С ОСТРОВА ПАСХИ

В кукурузе легко заблудиться. Я хотела наломать немного початков. Куры сырые зерна клюют. Только надо кукурузину раздеть. Сначала содрать сухие жесткие листья, потом сочные мягкие, а напоследок коричневую мочалку. И пожалуйста: вылущивай желтые зубки, воткнутые ровными рядами, и бросай: цыпа-цыпа-цыпа. Куры устраивают свалку, будто с голодного края. А для себя варим в огромной кастрюле. Правда, печку приходится топить в эту жарищу, но примус кастрюлищу не осилит.

Нырнула в ближайшую дырку в колючей проволоке, за клетками с кроликами. Дырок полно: детей дежурный на КПП не выпустит, а взрослым крюк лень делать. Рядом все хорошие початки оборвали, остались одни дохлые. Пришлось пробираться туда, где манили крупные, кивая лохматыми чубчиками. Набрала в подол,

сколько поместилось, а возвращаться некуда. Гигантские растения обступили, зловеще шуршат, не выпускают. Покричала — никто не отозвался. Поплакала — не помогло. И никакого смысла: все равно никто не слышит. Можно подождать уборки урожая…

Пошла куда глаза глядят. Глаза глядели в толстые стебли. Все одинаковые и царапаются. Сначала я крепко держала подол, а потом отпустила. Початки беззвучно упали на землю. Продиралась сквозь заросли целую вечность и случайно выбрела на пост ГАИ — ВАИ. Отсюда всего километр по грунтовке до части. Но это только называется — грунтовка, а на самом деле мягкая теплая пудра по щиколотку. Приятно, только жарко. Солнце прямо взбесилось. Вспомнила, что в посадке вдоль дороги протоптана тропинка. Душно, зато тень. И можно подбирать абрикосы. Спелые сами под ноги падают.

Дежурный на КПП удивился, откуда я взялась, но не ругался. Мама тоже не сердилась. Крикнула с веранды:

— Где тебя носит? Уже все собрались.

Оказывается, все собрались на ставок купаться. Братик, Карен и другие ребята. Мама подговорила Федю поехать в Кринычки, а то жарко, сил нет. Федя подготовился: обмотал лошадиные копыта мешковиной и веревками обвязал, чтобы топота слышно не было. Потому что мы сбегаем в самоволку. Ехать надо мимо позиции, а там папа. Мы крались как партизаны, даже братик с Кареном временно не дрались. Но папа все равно увидел:

— Стой! Стой, кому говорю! Поворачивай назад!

— Ну, пошла! — мама выхватила вожжи у Феди, лошадь помчалась, бричка затарахтела. — Вперед!

— Может, вернемся? — засомневался Федя, но мама его не слышала. Она пела:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Пулеметная тачанка,
Все четыре колеса!

Мамина косынка взмахнула белыми крыльями и улетела на свободу, волосы рассыпались по плечам, сарафан затрепетал на ветру. Тачанка запрыгала в неровной колее, пыль взметнулась до вышки с часовым.

— Стой! Стрелять буду! — крикнул он сверху.

— Не морочь голову, Саша!

Ты лети с дороги, птица,
Зверь, с дороги уходи,
Видишь, облако клубится,
Кони мчатся впереди!

В Кринычки мы ворвались как банда батьки Махно. Из-под колес в панике вспархивали куры, истерически визжали поросята, возмущенно гоготали гуси, захлебывались лаем собаки.

— Тю, скаженные! — ругнулась тетенька, прижавшись к плетню.

А нам море по колено! То есть ставок. То есть пруд. Он хоть и с гулькин нос, но всем места хватило: и гусям, и коровам, и сельским пацанам, и нам. Накупались до синих мурашек.

— А вы откуда родом? — спросил Федя, покусывая травинку. Он с нами не купался. Стеснялся и лошадь сторожил.

— Из Киева.

— Ого как. Я думал — из села. Так-то вы как городская. А где научились так лихо с лошадями управляться?

— Да нигде, — засмеялась мама. — Первый раз попробовала.

— Ну вы даете, — покрутил головой Федор. — Хлопцы говорят, вы артисткой раньше были.

— С чего они взяли?

— Уж больно красивые…

Вот это новости. Мама красивая? Мама — это мама. Лучше всех на свете. Я посмотрела: правда. Волосы черные, блестят. Наверное, потому, что мокрые. Но все равно в колечки завиваются сами. Брови широкие, вразлет, а глаза как коричневый бархат с золотыми искорками и пушистые от ресниц…

— Потому что она умывается, — важно заявил братик.

Дома нас ждал разгром. Мама совратила Федю и подбила сбежать в самоволку. Теперь папа должен посадить его на губу. Но как его посадить на губу, если он развлекал командирское семейство?

— Быть иль не быть — вот в чем вопрос, — насмешливо сказала мама.

— Прекрати! Ты! Ты развалила дисциплину!

— Разрушила обороноспособность страны, — вздохнула мама. — Три наряда вне очереди.

— Точно! — обрадовался папа. — Сколько можно валять дурака? Займись чем-нибудь полезным. Хотя бы лекции солдатам почитай. Для общего развития.

— Есть ли жизнь на Марсе? Или нет, лучше про обычаи племени Мумба-Юмба. Филиал общества «Знание».

— Ты когда-нибудь человеком станешь? — проникновенно спросил папа.

— В следующей жизни…

— Короче, так! — разозлился папа. — Про тачанку поешь? Так попой теперь с личным составом. У нас скоро смотр. Начальство приедет. Вот и займись строевой песней.

— Есть! Запоют как пташечки! Разрешите выполнять?

— Выполняйте, — махнул рукой папа.

Мама выполнила приказ на «пять». Даже с плюсом. К смотру готовили хорошую песню:

Путь далек у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди!
Вьется, вьется знамя полковое,
Командиры впереди!

Спевки были в Красном уголке, а маршировали под выученное, конечно, без мамы. По вечерам, сидя на крылечке, мы удовлетворенно слушали, как с плаца доносится:

Солдаты, в путь, в путь, в путь,
А для тебя, родная,
Есть почта полевая,
Прощай, труба зовет.
Солдаты, в поход!

Папа был доволен. Мама тоже. Ей нравилось петь со всеми вместе. Тем более что солдаты просили расширить репертуар. Для души. И мама его расширила. На

генеральной репетиции накануне приезда начальства после команды «Запевай!» Галиуллин звонко начал:

У девушки с острова Пасхи
Украли любовника тигры…

И рота грянула, печатая шаг:

Украли любовника
В форме чиновника
И съели в саду под бананом!

— Что они поют? — спросил замполит.
— Новую строевую песню, — ответил папа. — Вот идиот! Нашел кому доверить!
— Кто идиот?
— Неважно.

С тех пор пролетело три года
И девушка матерью стала, —

заливался Галиуллин.

Поймали виновника,
Тоже чиновника
И съели в саду под бананом! —

рявкнула рота.

— Вы уверены, что это стоит петь на смотре? — спросил замполит.
— Почему нет? — удивился папа. — Песня о дружественном народе, который борется с буржуазией и строит социализм. Прекрасные голоса. И ведь не фальшивят.
— Талантливые, черти, — вздохнул замполит.

А сад опустился и высох,
И тигры давно облысели,
Но каждую пятницу,
Лишь солнышко спрячется,
Кого-то жуют под бананом!

Солнце садилось. Коршун парил, раскинув крылья, над небольшой прогалиной в кукурузных джунглях, откуда в выцветшее небо летела солдатская песня.

ПРО АРБУЗЫ И КОЗУ

Мы проспали рынок. Проснулись — а жёны уже уехали. Папа дал машину в Кринички. Я умылась экономно, как мама учила. Чтобы воды в рукомойнике хватило на братика. А он жестяной носик вогнал внутрь и любовался, как струя льется. Пришлось давать подзатыльник, вставать на табуретку и доливать из ведра.

Нарвали кроликам капустных листьев, налущили курам семечек из подсолнуха, налили себе простокваши, отрезали по куску хлеба и сели на крылечке ждать.

Все приехали, кроме мамы. Амалия успокоила:

— Он на арба едет. Секрет везет.

Вечно эта Амалия все путает. Арбу и телегу, секрет и сюрприз, мужской род и женский. Зато по-армянски быстро-быстро на Карена ругается. Но он так носится, что ругань его не догоняет.

Наконец приехали сияющая мама и большой секрет. Два секрета: беленький козленок и полный воз арбузов. Дяденька в соломенной шляпе, с соломенными усами затормозил лошадь прямо у веранды. Мама спрыгнула с козленком на руках.

— Знакомьтесь. Это Катя. Она совсем крошка. Придется ее поить молоком из соски.

— Ой, какая лапочка! — мы бросились обнимать крошку.

У нее раскосые крыжовенные глаза, нежный влажный носик, вьющаяся челочка на крутом лобике и твердые копытца.

— Драга! Ты что опять вычудила? Я единственный раз не поехала, так ты опять дел натворила!

— Не сердись, Роза. Смотри, какая прелесть. Живая игрушка. И всего рубль.

— Посмотрим на эту прелесть через полгода. На что она тебе сдалась?

— Гладить…

— Ужас. А зачем арбузы приволокла? Куда тебе эта гора?

Гладкие мячики в зеленых полосатых пижамках поблескивают в солнечных лучах. На попках лихо завиваются поросячьи хвостики.

— Угощать. Бери, сколько хочешь. Не удержалась — так дешево. Кило — пять копеек.

— Совсем сдурела! То ж за кило. А тут центнер.

— Ни, немае центнера, — вмешался соломенный дяденька. — С вас, гражданочка, десять рубликов. Та вы не думайте, воны с Херсону. Гарны кавуны!

— Ой… Роза, займи пятерку…

— Щас. Ты будешь с ума сходить, а я тебя поважать? Не дам!

— А куды ж я их? — развел руками дяденька.

— Роза! Ну займи же. Стыдно перед человеком. Еле упросила ехать, — взмолилась мама.

Роза побурчала, но сбегала домой, принесла синюю бумажку. Мама расплатилась и скомандовала:

— Разгружай!

Взяла с краю арбуз, еле втащила его на веранду и жалобно посмотрела на соломенного дяденьку. Тот не слез с воза, но посоветовал:

— Хлопцев зовите. У вас их богато.

— У нас принципы, — нахмурилась Роза, решительно вошла в дом, взяла телефонную трубку, покрутила ручку сбоку коробочки и строго сказала:

— Сокол! Я Тополь. А ну соедини меня с замполитом. Шурик! А ну давай скоренько хлопцев на квартиру к командиру. Сколько? Сколько не жалко. У нас тут стихийное бедствие. Драга всю бахчу скупила.

Пока солдаты, построившись цепочкой, бросали арбузы друг другу, мы занялись Катей. Привязали ее к дереву, чтоб не убежала, и выпросили у лейтенантовой жены бутылочку молока с соской. Катя с наслаждением чмокала, прикрыв глазки.

Освобожденная телега попылила к КПП, солдаты с арбузами ушли нести службу, а мама вспомнила:

— Розочка, я нам сметаны купила. Пополам. Сейчас в банку перельем. Вот. — Отвязала марлевую тряпочку с глиняной крынки. — Ой… Я же сметану покупала. А тут масло…

— Не могу, — залилась смехом Роза. — Умираю. Это ж телегу трясло, вот масло и сбилось. Надо было на машине ехать, как все нормальные люди. Ладно, я пошла, а то у меня обед варится.

Зато у нас никакого обеда не будет. Потому что, пока мы отвлеклись на кормление Кати, солдаты сгрузили арбузы прямо в кухню. И теперь к столу через эту свалку не пробраться. Побежали по городку всех угощать. Только сами приходите и берите. Сколько хотите. Карен с братиком угольную тачку прикатили, лейтенантова жена коляску, Федя полную бричку нагрузил для солдатской столовой. Почти все арбузы пристроили в хорошие руки. Устали. Амалия напомнила:

— Я пошел в душ. Сегодня женский день.

И точно. Совсем забыли. Воды в цистерне на всех не хватает. Вот и разделились офицерские семьи по-честному, на мальчиков и девочек. У солдат своя купальня есть, тоже с цистерной. А зимой кочегарка баню топит. Взяли с собой братика и Карена, они еще маленькие. Намыли и выпустили.

— Убью, паразитка! — Амалия на всякий случай напомнила, что нельзя лезть на угольную кучу.

У нас купальня хорошая, большая, деревянная. Двухкомнатная, только без крыши. Зачем летом крыша? В первой комнате лавки, на них одежду складывают. А во второй — ржавая труба от цистерны тянется, из трубы железные ситечки торчат. Повернешь вентиль — вода льется. Утром ледяная, днем теплая, вечером горячая. Только надо экономно мыться, как дома из рукомойника. Экономно — значит, быстро.

Когда уже к дому подходили, Амалия спохватилась:

— Лифчик забыл. Карен! Карен! — и зашептала, тревожно оглядываясь: — Карен, я там один вещь забыл. Умоляю: принеси потихоньку, чтоб никто не видел. Поняла?

Карен с братиком хитро сверкнули глазищами. Они у них одинаковые: такие темно-коричневые, что почти черные, и на лице еле помещаются. Мальчики помчались в купальню.

— Чего так долго не идет? — забеспокоилась Амалия. — Куда она делась?

А никуда она не делась. То есть они. Просто искали палку подлиннее. Привязали лифчик и размахивали им, бегая по городку с индейскими воплями. Но Амалия кричала громче:

— Карен! Карен! Убью! Зачем палка взял? Лучше в уголь лазил!

Вечером папа вернулся со службы. Мы его арбузами с хлебом угостили. Очень вкусно. И можно есть ложкой: выгребать сладкую красную мякоть с сизым налетом на изломе сразу из половинки. Ему понравилось. Роза обещала научить солить арбузы в бочке. Вот такая закуска! Но вряд ли нам хватит на бочку…

Мы сидим на веранде. Папа задумчиво говорит:

— Когда я был маленький, знакомый привез из Астрахани огромный арбуз. Почти с меня ростом. Я его катал по комнате, катал. А когда разрезали — оказалась одна вода. Вот как здорово я его укатал! Это было еще до войны. И были мама и папа.

Звезды высыпали гурьбой на черное небо, мерцают, перекликаются. Вспыхивают красные точки сигарет, перемигиваются: папина, мамина… Тихо… Только слышно где-то вдали: «Карен! Карен!», да тоненькое блеянье из угла веранды: «Ма-а-а-а…»

ОСЕННИК И РУССКИЙ ЯЗЫК

Читаю лекцию о делении клеток, поглядываю на улицу. Кафедра у окна, очень удобно, но иногда задумываюсь. Студенты привычно ждут, когда вернусь. Первый снежок присыпал палую листву, а поляна между учебными корпусами голая, без тонкого белого одеяла. Неизвестный скульптор сваял снеговика. Он облеплен листьями, поэтому получился осенник. Веселый, рыжий.

— Каждого из нас в детстве осенила гениальная мысль: «Если бы мама не встретила папу, я бы никогда не родился». Но если бы гены выстроились в иной комбинации, получился бы совсем другой человек.

— Тоже хороший, — подает голос кто-то «с камчатки».

— Кто ж спорит…

Осенник хитро поблескивает рябиновыми глазками. Почти такого же мы слепили с братиком и Кареном, только наш был угольник. Мальчишки свезли снег со всего городка на угольной тачке. Снег — большой дефицит. От кукурузы остались одни воспоминания, они не мешают ветру хулиганить. Он выметает поля почти начисто, сваливая сугробы под домами, казармой, кочегаркой, конюшней.

Снеговика мы слепили наскоро, нам некогда. Мы ходим в школу. Братик и Карен в первый класс, я — в четвертый, Шурик и Валерка — в пятый, Наташа — в восьмой. Точнее, не ходим, а ездим. В Днепродзержинск. Пятьдесят километров туда, пятьдесят — обратно. На уазике, с водителем-солдатом и старшим — дежурным офицером. Без старшего нельзя: поймает патруль и всем нагорит.

В Кринычках школа хорошая, только все предметы на украинском. А мы сегодня здесь, а завтра где-нибудь в Мурманске. Или в Ташкенте. Или вообще в Германии. Так и запутаться можно. На каком языке в институт поступать? Мне-то все равно. Меня в институт не возьмут, я тупая. Так говорит Таисия Григорьевна. Она добрая, но справедливая. Ей ничего не нравится, даже как я рисую.

— Шо це ты намалювала?

— Яблоки в вазе. Это натюрморт.

— Це не натюрморт, а буряк.

— Свекла? Нет, на свеклу совсем непохоже, — я с сомнением разглядываю свое произведение. Дома я им гордилась, а в классе — нет.

— Надо говорить грамотно, — Таисия Григорьевна снимает очки в толстой роговой оправе, вытирает носовым платочком и снова нахлобучивает на нос. — Шо це за свекла така? Такого слова немае.

Немае — так немае. Мы с мамой договорились не спорить. Хотя она сильно удивилась, когда учительница ошибки в изложении исправила. Даже пожаловалась Розе:

— И что с этим делать? Смотри, Булка написала: «Пионеры пели в хоре». А она исправила: «Пионеры спивалы в хоре». И трояк поставила. Дело не в оценке. У Булки полная каша в голове будет. И какой смысл в такую даль пилить ради русской школы? Она такая русская, как я китайский император.

— Иди до директора! — возмутилась Роза. — Что за безобразие! Русский язык — это русский. А украинский — украинский. И нечего их слеплять.

— Надо идти? — засомневалась мама. Она терпеть не может бегать по всяким директорам и жаловаться. — Я в школе тоже украинский учила. И литературу. Ничего страшного. Булка так много читает, что никакая Таисия не запутает. Слышишь? Не спорь с учительницей. Она не виновата.

Я не спорю. Только отметки у меня не очень. Не могу угадать правильные слова. Зато по арифметике твердая четверка. Цифры на всех языках одинаковые.

Будильник ведет себя по-свински. Врывается в теплый сон и визжит. На черном окне мороз нарисовал сказочные перья жар-птицы, резные завитушки искрятся серебром. Сую босые ноги прямо в валенки, потому что пол ледяной. Это я у Обломова научилась. Он умел, вставая с кровати, сразу в домашние туфли попадать. Вода в умывальнике замерзла, но мама доливает воды из чайника. Умывальник оттаивает, плачет крупными слезами. Братик тоже хнычет. Не хочет в школу, а хочет спать. Но уазик ждать не будет.

Сегодня мама опять едет с нами. Ищет работу на половину дня, пока мы в школе. Она часто ездит, дома скучно. Телевизор молчит, а если повернуть ручку, показывает поземку. Только радио бодро покрикивает: «В эфире — Пионерская зорька!» Еще можно проигрыватель включить. Черная пластинка потрескивает, кружится под иглой, играет Моцарта или Чайковского, поет изломанным голосом Вертинского:

Мадам, уже падают листья,
И осень в смертельном бреду.
Уже виноградные кисти
Желтеют в забытом саду…

Виноград растет в Киеве. Там никогда не бывает зимы и есть работа.

— Лишь бы шляться, — сердится папа. — Кому ты нужна на полдня? Какой дурак тебя возьмет?

— Так будем искать умного. Геофизики на дороге не валяются. Я тут с ума сойду скоро. Такая тоска…

— Ну что я могу сделать? Предлагал же: учи детей здесь. Чего из школьной программы ты не знаешь? А с облоно договорюсь.

— Ага, как же. Двое первоклашек, остальные кто где. Хочешь церковно-приходскую школу устроить? Это непрофессионально, в конце концов!

— А профессионально, когда дома постоянно жрать нечего? — папа вскипает одновременно с бульоном.

— Вернусь, сварю суп, — мама уменьшает огонь на примусе, снимает ложкой накипь. — Лучше за бульоном последи, а то мы опаздываем. Еще сбежит.

— Так я его догоню, — обещает папа и делает музыку громче:

Я жду вас, как сна голубого,
Я брежу в смертельном огне,
Когда же вы скажете слово?
Когда вы придете ко мне?

Уазик всю дорогу простуженно чихает. Саша останавливается на обочине, уговаривает мотор, и мы едем дальше.

— Знов ты опоздала? — сердится Таисия Григорьевна. — Сидай на место и решай примеры.

В школе тепло, даже жарко Я оттаиваю, как умывальник утром, и на тетрадь падают крупные капли, расплываются фиолетовыми лужицами.

— Чего это? — учительница помаргивает короткими ресничками за круглыми стеклами. — То ж легкие примеры.

Она садится рядом на скамью, потеснив меня к Сереже, обмакивает перо в чернильницу и выводит невозможно красивые цифры.

— Ось так. Поняла?

Я киваю и судорожно всхлипываю. И в самом деле: чего это я разнюнилась? А потому что нечего было Киев вспоминать.

На обратном пути уазик ломается окончательно. Жмемся стайкой на обочине, ждем, когда мама поймает попутку. Грузовики не годятся — замерзнем. Уже замерзли. Ветер совсем очумел, бросает в лица сухой колючий снег, лезет под пальто. Наконец появляется рейсовый автобус. Едет в Киев мимо нас. Мама договаривается с шофером, потому что у нас денег мало, а старший остается с солдатом. Автобус мягко покачивает, но стоять можно, если крепко ухватиться. Братика и Карена берут на руки добрые люди, а мы стоим, в окошки смотрим.

Мимо бегут белые поля, белые хатки с заиндевевшими соломенными крышами, серые заколоченные церквушки, бурые покосившиеся плетни. Пустые взлохмаченные гнезда под стрехами ждут возвращения аистов. Черные деревья машут нам вслед голыми ветками. У поста ГАИ — ВАИ выходим. Осталось всего ничего. Километр дотопаем. Братик с Кареном, хоть и маленькие, но тренированные. Летом в походы каждый день ходили. Мама варила яйца вкрутую, резала хлеб, мыла помидоры. Они шли в посадку, ели и возвращались. На всякий случай отбираем у них ранцы. Жаль, что мама не разрешила петь про коричневую пуговку. На морозе можно горло простудить.

С полей крадутся сумерки, но впереди уже светится желтым окно КПП. У шлагбаума темной кучкой стоят женщины.

— Наконец-то! Что случилось? — Роза летит черной птицей, раскинув полы полушубка.

— Машина сломалась, — объясняет мама. — Надо им подмогу высылать. Сейчас организуем.

— Ох, драга! Это ж счастье, что ты поехала. А я с утра прямо как чувствовала. Намерзлись?

— А, паразитка! — Амалия тискает сына, обнимает, целует, кутает поплотнее в шарф. — Заболеешь — убью!

— Как же вы добрались?

— Мама целый автобус поймала, — хвастается братик.

— С твоей мамой не пропадешь, — смеется Роза.

Хорошо им, у них тепло. А у нас избушка ледяная, как у лисички. Печка наверняка давно остыла, папа-то на службе. Ой, нет! Окна теплятся сливочным светом. Поднимаемся на крыльцо, толкаем дверь. Печка топится. Дрова потрескивают, чайник на краю тоненько посвистывает, на столе под вышитым рушником пирог дышит.

— Роза… — мама улыбнулась, сняла шаль, протянула руки к печке. — Как тепло…

— Вы видели? — закричал братик. — Нашему снеговику кто-то военные пуговицы воткнул!

— Потому что он стоит на посту…

…К большой перемене осенник устал и улегся навзничь, задумчиво разглядывая низкие облака.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

С недавних пор я полюбила ездить в общественном транспорте. Любовь зла. Мера вынужденная: пришлось продать машину. Единственное место, где я отдыхала. Даже пробки не раздражали. Потому что у меня была музыкальная шкатулка на колесах. Лились, завораживали, тревожили голоса — медовый Анны Герман, бархатный

Сезарии Эворы, страстный Плачидо Доминго, лиричный Андреа Бочелли; рыдали скрипки, звенели гитары, заливались флейты, ликовали саксофоны, звали туда, где радостно, солнечно и нет идиотских методических рекомендаций с призывами немедленно развить, выполнить и добиться. Интересно, какие люди их сочиняют? Они, наверное, о чем-нибудь мечтают, пьют по утрам кефир, а потом идут на службу и пишут про оптимизацию образования. Или гуманизацию. Или модернизацию.

Так вот, в автобусах интересно. У нас нет трамваев и троллейбусов. Какой смысл? Город маленький. Большинство ездит в собственных автомобилях, меньшинство стоит на остановках. Хотя пешком весь город можно пройти насквозь за полтора часа. Быстрым шагом. Полезным для здоровья. Я проверяла. Недавно один политический деятель мимолетом проскочил и на ходу распорядился: немедленно вырыть метро. Метро так метро. С двумя станциями: северной и южной.

Сижу в автобусе у окна, развлекаюсь. Напротив болтает ногами милое создание лет восьми, все в рюшечках, оборочках, бантиках, с поющим портфелем. В нем Мамонтенок из мультика: «И мама узнает, и мама придет, и мама меня непременно найдет». Уже нашла.

— Але. Все хорошо, домой еду. Пять по пению, три по чтению. А еще у нас сегодня вшей лечили, — отчитывается милое создание.

Давлюсь смехом и для отвлекающей терапии складываю цифры на билете. Вспомнила, как мама в киевском трамвае учила. Ого! А билет-то счастливый!

Контролерша, пышная дама средних лет, требует предъявить билеты. Проверив, надрывает крошечные бумажки. Не знаю, для чего. Может быть, чтоб в другом автобусе зайцем не прокатились, что весьма затруднительно: кондуктор бдительно отслеживает новичков. А может, для того, чтобы пассажиры осознали значимость процесса. Если просто бросить взгляд, останется какая-то незавершенность. А надорвешь — сразу видно добросовестное отношение к обязанностям. Наконец приходит моя очередь. Я вскрикиваю:

— Только не рвите! Он счастливый!

— Как вы узнали? — контролерша поспешно возвращает билетик, побоявшись повредить чужое счастье.

— Посчитала.

На обратном пути сажусь в маршрутку. Она скачет как брыкливый бычок посреди задумчивого автомобильного стада. У драмтеатра входят двое: он и она. Их объединяет средняя степень опьянения, а больше ничего не объединяет, потому что она передает деньги за проезд, а он — нет. Хотя должно быть наоборот: она в этом деле явно профессионал, а он — любитель. Одет прилично, даже при галстуке, но без денег. Водитель злится и требует покинуть транспортное средство, а то никто никуда не поедет. Пассажиры немедленно сплачиваются в группу поддержки водителя. Пьяный борется за справедливость.

— Утрешняя сдача где? Зажали сдачу.

— Я тебе сейчас устрою сдачу. Сдам в милицию, — грозит водитель. — Мало не покажется.

Та, которая вошла с борцом за справедливость, переживает молча. Боится, что и ее высадят за компанию. Наверное, привыкла к осуждающим взглядам. Но молодец, поддерживает имидж: медные волосы кокетливо украшены бантиком, стоптанные босоножки открывают пальцы с облезлым, но все-таки лаком, и сумочка, хоть и потертая, имеется. Она неуверенно открывает замочек, звенит мелочью, но я ее опережаю:

— Будьте любезны, передайте за молодого человека.

Водитель бурчит, швыряет звонкие монетки в жестянку, выруливает с остановки и включает радио на всю катушку.

— А ну выруби! — требует пьяный. — Прям по мозгам долбит!

— Заткнись, — советует водитель.

— Останови! Я слезу.

— Куда же вы? — я не выдерживаю. — Вам домой надо.

— Не желаю! — он поднимает протестующий указательный палец и вываливается на тротуар.

Высадив скандалиста, водитель остервенело рвет коробку передач и трогает с места. Высаженный недоуменно топчется, прикидывает, в какую сторону света отправиться.

— Пьяный, что с него возьмешь, — медноволосая делится со мной, как с единомышленницей. — Зря только сделали доброе дело.

Измельчали добрые дела. Две монетки подарила и могу гордиться. Далеко мне до мамы…

…Очередь в самолетную кассу сердитая. Мы с братиком тоже. Родители себе билеты на Сахалин покупают, а нас у бабушек оставляют.

— Пить хочу… — ноет братик.

— Потерпи немного, — просит мама.

— Хочу в цирк, — ноет братик.

— Короче. В качестве компенсации за моральный ущерб выдается вознаграждение: поход в стереокино. Для тех, кто не хнычет, — обещает папа.

Ура! Стереокино на Крещатике! Там дают специальные очки, немножко розовые, немножко голубые, через них кино как настоящее. И ничего не ура… Сами на Сахалин едут, а нас бросают. Конечно, у бабушек хорошо. Уютно, тепло и вкусно. Но как же мы без мамы? И без папы…

Нас брать нельзя. Там метели, бураны и эти… как их? тайфуны. И нет никаких школ. И витаминов. И даже больниц. А у меня горло. А у братика — все. Или почти все. Кроме коленок. Но это временно.

— Да нет у меня никакого свидетельства! — возмущается женщина у кассы. — Вот в паспорте русским языком написано: сын Виталий.

— Не положено, гражданка. Без свидетельства не имею права. Может, это не сын. А племянник. Или вообще неизвестно кто.

— Как это неизвестно кто? — женщина берет мальчика поперек живота и сует его почти в окошко. — Виталечка, скажи тете, кто я.

— Маруся.

— Ага! Хотели обмануть государство! Сильно умные: посторонних детей по льготному тарифу протаскивают, — ругается кассирша. — Платите как положено.

— Та какая я ему Маруся? Сыночка, ты шо, сдурел? А у меня денег в обрез. Из отпуска повертаемся.

— Гражданка, не задерживайте. Сколько уже можно: то сын, то не сын, — не выдерживает очередь.

Женщина поднимает ребенка повыше и звонко спрашивает:

— Люди! Кто скажет, что это не мой сын?

И правда: они очень похожи. Колючие глазки, острые носики, узкие личики, торчащие волосы. Ежиха-мама, ежонок-сын. У нашей мамы на щеках расцветают алые пятна, в глазах вспыхивают золотые искорки. Она бросается к кассе, на ходу раскрывая сумку.

— Сколько вам не хватает? Я доплачу!

Следом из очереди выпрыгивает папа, хватает маму, тащит на улицу и кричит:

— Не слушайте ее, она сумасшедшая!

Мы с братиком выбегаем следом. Кажется, стереокино отменяется. Мама рвется назад, но папа ее крепко держит.

— Пусти! Она что, пешком в Хабаровск пойдет?

— Тебе какое дело? Она нарочно на жалость давит, на таких дур, как ты, рассчитывает.

— Ты никому не веришь. Пусти!

— Не пущу. Надоели твои фокусы. Когда это кончится?

— Никогда! — мама вырывается, гордо вскидывает голову и бежит к трамваю. Прямо на красный свет.

ГДЕ НАШ ДОМ?

Мася терзает полонез Огинского, папа ей помогает. Переворачивает листы, следит за постановкой рук, подсказывает ноты по шпаргалке:

— Фа-диез. Нет, кажется, ля-бемоль. Точно.

— Папа, вечно ты меня запутываешь, — капризно тянет Мася, изо всех сил вдавливает педаль, и пианино отзывается недовольным гулом.

— Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом! — восклицает папа по давней привычке.

Про меня он тоже так когда-то говорил, только музыке не учил. В гарнизоне не было возможности, а в Киеве есть. Он играть не умеет, но вдохновенно осуществляет общее руководство. Я тоже пыталась: записала дочь в музыкальную студию при Дворце пионеров и организовала втаскивание пианино на наш пятый этаж. Зря. Дочь бренчала гаммы неохотно, уныло напевая: «До-ре-ми-фа-соль-ля-си, что-ук-ра-ла-при-не-си, я-ук-ра-ла-кол-ба-су, ни-че-го-не-при-не-су». Учительница сольфеджио взбунтовалась: «Или сидите на уроке вместе со своим вундеркиндом, или я не знаю что!» Я отпрашивалась с работы и сидела. Делала успехи в отличие от дочери. У нее проявился характер. Студию бросила, сама выучилась играть на гитаре и теперь поет ангельским голосом: «У солдата выходной, пуговицы в ряд». Она всего на полтора года младше Маси. Мы с ней приехали на зимние каникулы: скучаем по бабушке и Киеву.

Мокрый снег ползет слезами по черному стеклу. Я затаилась на шаткой тахте, смотрю в спины музыкантам. Золотисто-каштановые волосы струятся до вертлявого стульчика, на макушке дрожит белый капроновый бант, огромный, как пропеллер. Папа оборачивается, взглядом приглашает восхищаться Масиными достижениями. Восхищаюсь, но отвлекаюсь. В комнату то и дело врывается Лидочка, папина жена, подозрительно прислушивается, морщит узкий лоб, которого очень мало — почти сразу над бровями начинается прическа. Боится, что я назову папу папой. Поэтому моя дочь оставлена у бабушки — она-то точно завопит: «дедушка!» и спалит всю контору. А нельзя: Мася не знает, что мы есть. Это может расстроить детскую психику.

Обычно мы встречаемся, как Штирлиц с женой в фильме «Семнадцать мгновений весны». Папа втихаря отщипывает кусочки от семейного бюджета и притаскивает нам подарки, водит в зоопарк смотреть обезьян, покупает билеты в филармонию, но все это строго конспиративно. Сегодня меня впустили с условием сохранять инкогнито. Для Маси я — просто знакомая тетя.

В честь моего визита готовится парадный ужин: в кухне что-то воет, гремит, скрежещет и оглушительно рушится. Концерт для сковородки с оркестром. Наконец нас зовут к столу. Кухня напоминает посудную лавку сразу после визита слона. Миски, кастрюли, сковородки всех калибров, терки, ножи, взбивалки, доски, дуршлаги, мясорубка частью громоздятся в раковине, частью диффузно распространились по

всем горизонтальным поверхностям, включая подоконник. Все это перемежается яичной скорлупой, картофельно-морковными очистками, луковой шелухой, пустыми упаковками и подозрительными баночками. На газовой плите что-то догорает, что-то выкипает, что-то яростно плюется. Лидочка швыряет свое крупное тело от стола к плите, раковине, холодильнику; грохочет, роняет, переворачивает. Несмотря на буйство стихии, появляется обильное угощение в разномастной посуде и продолжает готовиться следующее: режется, взбивается, смешивается. Взвывает соковыжималка, судорожно трясется в конвульсиях, исторгает по капле морковный сок: у папы желудок. Стакан с мутно-оранжевой жидкостью стукается об стол, папа подпрыгивает:

— Опять это пойло?

— Молчи уже! Я тут надрываюсь, никакой благодарности!

— Кончай, а? — просит папа.

— Нет моего терпения! Таскаюсь с сумками, как ишак, весь дом на мне, работа на мне, Маська на мне… Ой, телефон!

Лидочка, вытирая руки затрапезным полотенцем, бросается в комнату. Папа прикручивает газ до еле видных голубых язычков и подмигивает нам:

— Это сладкое слово — свобода! Да здравствует телефон! Полчаса тишины нам гарантированы.

— Может, номером ошиблись, — предостерегает Мася.

— Это было бы очень печально, — папа достает из-за банок с огурцами пачку сигарет и пускает дым в форточку. — Если что — скажи, что ты курила.

— Без проблем, — соглашаюсь легко: надо же папу выручать.

Впрочем, благие намерения остаются нереализованными. Дверь распахивается, форточка хлопает, папа тычет окурком в блюдце.

— Совсем оборзел!

— Не, частично, — не соглашается папа.

— Вот уеду на Сахалин — и делай что хочешь! — грозит Лидочка возвращением на историческую родину.

— Не обнадеживай, — смеется папа.

— Ему все смешки! — папина жена обрушивается на меня. — Курит — раз! Потом всю ночь не спит и вздыхает. Пить нельзя — пьет. Шляется не пойми с кем — все у него боевые друзья. А я так думаю, что подруги!

Я покаянно киваю. Как китайский болванчик. Мне очень стыдно, что я так плохо воспитала папу.

После ужина он идет меня провожать, а то уже поздно. Всего две остановки: бабушке дали однокомнатную малосемейку здесь же, на Оболони. Можно было бы радоваться — горячая вода, ванна. Но бабушка намывает ванну до неземного сияния, потом протирает спиртом для окончательной дезинфекции и грустит по нашему старому дому на Подоле, который давно разобрали по кирпичикам.

В подъезде папа останавливается у мусоропровода, хлопает себя по карманам.

— Покурим. А то на улице мокро.

Мы стоим в компании с бездомной кошкой и наблюдаем, как сизый дым плывет к тусклой лампочке. Сверху раздается грозное:

— Отец! Опять дымишь, как паровоз! А ну давай быстро: одна нога здесь, другая там. Тебе еще математику делать.

Мы молчим, как партизаны, и на цыпочках выскальзываем на улицу.

— Разведусь к чертям собачьим!

— Ты что? Не вздумай! — пугаюсь по-настоящему. — Она же о тебе заботится.

— Мне эта забота знаешь где сидит? Больше шума. В доме перманентный еврейский погром. И банки под кроватью взрываются. В основном ночью. Заикой можно стать.

— А как же Мася?

— Да… Как там мама?

— Нормально. Английский учит.

— На фига? — мгновенно раздражается папа.

— Так она в поле больше не ездит. Осваивает вычислительную технику, там все по-английски.

— Потому что кибернетика — продажная девка империализма. Я тебя про жизнь спрашиваю, а ты про работу.

— Так это и есть жизнь.

Морось, зарядившая с утра, собралась с силами и закружилась крупными мохнатыми снежинками. Как в тот день, когда папа проездом заскочил в Киев.

— Па, помнишь, ты приехал, когда я в пятом классе училась?

Я валяла дурака на продленке. Уроки наспех сделала и вырезала из тетрадных листов кособокие снежинки. За окнами плавно танцевали настоящие. Дверь приоткрылась, и дежурная воспитательница вызвала меня из класса. Я вышла и увидела два ряда золотых сверкающих пуговиц, а над ними — родное, любимое папино лицо. Ткнулась носом в мокрую шинель. Она пахла чем-то забытым, горьковатым…

Мы шли по Покровской улице. Снег укутывал голые ветки легкими пушистыми шубками, заполнял следы: большие от сапог и маленькие от валенок. Братик умчался вперед. Надо всем-всем рассказать, что к нам приехал папа.

— Вы там уже хорошо устроились? Когда нас заберете? Как там мама?

— Хорошо… — папа остановился на площадке гранитной лестницы, достал из кармана папиросы. Спички ломались, робкий огонек, едва появившись, умирал. Папа сложил ладони лодочкой и сберег маленькое пламя. — Видишь, какое дело… Мы с мамой решили пока пожить отдельно…

Снег падал густой пеленой. Глухо, как сквозь вату, доносилось невероятное. Невозможное. Немыслимое. Папа командует частью где-то в центре острова. Там опять нет школы, и вообще ничего нет — вокруг одни пни от вырубленной тайги. Мама осталась в Южном, устроилась на работу в свою любимую геологию, ищет воду. Снимает комнату в бараке, по ночам воюет с крысами, поэтому нас забирать некуда. Я уже взрослая и должна понимать. Снег тает на наших лицах, и они стали мокрыми…

…Мы нырнули под арку и вышли на игрушечную круглую площадь станции метро «Герои Днепра». Я здесь вечно запутываюсь: в какую из четырех арок идти? Все одинаковые. Чуть крутанешься — и все. Бегай в каждую по очереди, ищи выход. Но папа уверенно направляется в правильную, и мы выходим на проспект Корнейчука. Из снежной путаницы выныривает тонкая девичья фигурка и бросается к нам:

— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где мой дом?

Мы в полном недоумении, даже папа теряет дар речи. Ненадолго.

— Спокойно, Маша, я Дубровский.

— Ой, а как вы узнали, что я Маша?

— Пальцем в небо, — хохочет папа. — Доложите обстановку. Как это вас угораздило свой дом потерять?

— Так мы только сегодня переехали. Я пошла мусор выбросить, а все дома одинаковые. И адрес не знаю.

Папа немедленно воодушевляется, и мы идем искать.

Крутится-вертится шар голубой,
Крутится-вертится над головой,

Крутится-вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть, —

напевает папа, и я помогаю:

Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня, что я влюблен?
А вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня, что я влюблен!

Мы орем на весь проспект, никому не мешаем. Прохожие попрятались. Фонари вытянули гусиные шеи, мерзнут. Только машины неутомимо пробивают колею в сером месиве. Снег идет. И мы идем. Эх, милая барышня, кто бы нам с папой рассказал, где наш дом?

А Я ЕДУ ЗА ТУМАНОМ

Непобедимый бамбук, едва выбравшись из-под колес буровой, гордо выпрямляется. Ему все нипочем: зимой он нагло зеленеет, пробиваясь сквозь снег, а сейчас хранит свежий глянец под жгучими лучами. Наверное, я тоже зеленею от качки. Сижу на боку у буровой на страшно неудобной железяке, нарушаю технику безопасности. Мама разрешила. Она главная, пока начальник партии что-то выбивает в Южном.

Буровая останавливается на речном берегу. Берег есть, а речки нет. Убежала от жары, потеряв лужицы между вылизанными камнями. Скатываюсь на упругое переплетение корней, покрытых мхом, стаскиваю лопаты, ящик для проб и жду. Мама с рабочим почти пришли: в пенных волнах медвежьей дудки покачивается газетная лодочка. Василий Николаевич и мне такую же сложил, а мама не захотела. У нее войлочная шляпа осталась с курортных времен.

Я Василия Николаевича не боюсь, хотя надо. Он сидел. Вчера нечаянно услышала, как Валя-черненькая шептала маме так, что за километр было слышно. Оказывается, с Николаичем нельзя по тайге ходить. Надо его срочно поменять на Диму. А с этим уголовником пусть начальник сам работает. Нечего рисковать. Но мама ни капельки не испугалась и спокойно ответила, что она все прекрасно знала и сама уговорила начальника дать ей Василия Николаевича. Потому что нельзя человека унижать недоверием. Но Валя-черненькая еще хуже зашипела — как вы можете Булочку с ним отпускать копать шурфы? Мама рассердилась: она сама знает, кому можно доверить ребенка, а кому — нет. Ребенок, ха! Я в десятый класс перешла. Уже работаю. Правда, на общественных началах. Братик еще молодой, его в Киев бабушкам передали. На Сахалине это просто. Кто в отпуск на материк летит, получает в нагрузку парочку чужих детей. У всех бабушки где-нибудь далеко…

Буровая переползла на брюхе остатки речки и отправилась рычать к подножью сопки. А мы пошли брать пробы. До самого вечера провозились, зато участок прикончили. Рабочий нес тяжеленный ящик и лопаты. Мама свою не хотела отдавать, но он отобрал — и все. Пишите жалобы. Я не протестовала. Сил не было. Да еще в этих дурацких кедах неудобно сквозь бурелом продираться: сучки впиваются, лианы в капканы свиваются, пни поганками прикидываются. Надо было сапоги надеть, но в них жарко.

Николаич легко идет впереди, как индеец из книг Фенимора Купера. То колючую ветку придержит, то камень подбросит в топкую грязь у ручья, то у коварной

ямы задержится, и все молча. Слова из него не вытянешь. Даже утром никакого здрасьте не дождешься.

Крошка дятел выбил дробь по стволу, белка юркнула в дупло, золотистый бурундук скользнул под корягу. Лес незаметно рассеялся, подкинув под ноги брусничный ковер, усыпанный алыми бусинками. Жаль, собирать некогда. Ухватываю наспех несколько ягод. Кисленькие и немножко язык щиплют. Ой, чуть не вляпалась! Здоровенная бурая лепешка утыкана раздавленными брусничинами. Ой, а там еще одна. И еще…

— Это что такое?

Но Василий Николаевич вместо ответа кричит дурным голосом:

Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой, —

и мы с мамой от неожиданности подхватываем. Ничего не понимаю. Может, наш Николаич уже забыл о своей трудной судьбе и решил повеселиться? Мы эту песню поем по вечерам у костра под Димину гитару. Гимн геологов. Николаич раньше никогда не пел. Перегрелся, что ли? Чего он орет, как ненормальный?

Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой!
И мелькают города и страны!
Параллели и меридианы!
Но нигде таких пунктиров нету!
По которым нам бродить по свету!

Кусты трещат и качаются. Мелькает мохнатый клубок, катится к перелеску, прячется в зарослях гигантских лопухов. Николаич останавливается, вытирает пот со лба, вздыхает:

— Кажись, пронесло.

— Что пронесло? — дергаю его за рукав ковбойки.

— Чуть с мишкой не поцеловались, — смеется мама.

— Вам все смешки, — хмурится рабочий.

— Но ведь ничего не случилось. Зато медведя увидели, и в зоосад ходить не надо.

— Зоосад… — бурчит Василий Николаевич. — Цирк на палочке…

Вернулись в поселок, когда солнце растаяло, потекло по небу потоками расплавленного золота, зажгло облака, только с деревьями не справилось: их черные силуэты врезались в пылающий багрянец. Валя-беленькая наварила ухи, нажарила рыбы. Она сегодня дежурная. Сначала думали — я готовить буду, но потом почему-то передумали, хотя я очень старалась. Теперь обе Вали по очереди дежурят, но они никакие не поварихи, а почвоведы. В этом году техникум окончили и приехали по распределению почвой ведать. Вали все время что-нибудь вкусное придумывают, потому что они бегают: беленькая за рабочим Димой, а черненькая за помбуром Аркадием. Только никакого толку. Дима легкомысленный, а Аркадий женатый.

Партия разместилась в двух домах. Один сельсовет выделил, в нем все равно никто не жил, а теперь наши мужчины поселились. А нас с мамой и Валями приютила хохотушка Наташа. У нее муж на путину уехал, ей скучно. Но с нами не соскучишься.

Костер выстреливал сверкающие искры в мглистое небо, сосны шелестели, прогоняя вечерний туман, гитара звенела томительно и нежно.

Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак.
Я гоняюсь, я гоняюсь за туманом
И с собою мне не справиться никак, —

задумчиво признался Дима, не обращая внимания на преданные взгляды Вали-беленькой. Их не заметить может только слепой, Дима просто воображала.

Люди посланы делами, люди едут за деньгами,
Убегают от обид и от тоски,
А я еду, а я еду за туманом,
За туманом и за запахом тайги…

Валя-беленькая демонстративно вскочила и убежала. Думала, Дима побежит следом выяснять, почему она обиделась. Но ничего подобного. Дима был по-прежнему невозмутим. Зря Валя хорошую песню не допела.

— Ненавижу всех мужиков! — гневно сообщила она, едва мы вернулись домой.

— Правильно! — поддержала ее Наташа. — Много о себе понимают. Пьяницы и бездельники все. Вон мой: усядется в кресле перед телевизором, как изгой, — манты ему подавай! А я и так весь день кручусь, еще тунеядцев обслуживай!

— Да я бы обслуживала. Ну почему он такой равнодушный? Можно подумать, я уродина какая-то.

— Цену набивает, — Валя-черненькая посмотрелась в зеркало.

— Ну, знаешь, уродина — не уродина, а следить за собой надо, — учительским тоном сказала Наташа. — Вот я рецепт знаю: в марле сделать глаза, обмакать в сиропе, лечь и поднять ноги.

— И все мухи слетятся, — хихикнула я.

— Что же мне делать? — горько заплакала Валя-беленькая.

— Ничего не делать, — пожала плечами мама. — И уж во всяком случае не демонстрировать свои чувства. В женщине должна быть тайна.

— Ага, тайна… — задумалась Валя-черненькая. — Конечно, у вас жизненный опыт. Но хорошо рассуждать, когда все в прошлом. Ой, только не обижайтесь, но какая может быть любовь в сорок лет?

— В тридцать восемь, — загадочно улыбнулась мама. — Знаете что? А давайте мужчин напугаем. Нарядимся привидениями — вот смеху будет!

— Давайте! — Валя-беленькая засияла мокрыми глазами.

Наташа забегала, захлопотала, выдвигая ящики комода, перебирая аккуратные стопки в шкафу, и добыла в сундуке заплатанные простыни. Дырки для глаз вырезать не стали. Хоть простыни и старенькие, а все равно дефицит. Накинули на головы — сойдет. Зато намалевали помадой щеки, получились привидения-матрешки.

— Петух! Нам нужен петух! — придумала мама. — Бросим его в окошко, а сами как завоем!

Наташа мигом схватила фонарик, помчалась в курятник и вскоре вернулась, прижимая к груди своего драгоценного Петю, всем известного драчуна и забияку. Петя выдрался из хозяйских объятий и зацокал по крашеным половицам.

— Держи его! Лови!

— Загоняй к печке!

Под окном заурчала машина, мигнув в окна фарами.

— Начальник вернулся, — всплеснула руками Валя-черненькая. — Достанется нам на орехи. Ловите Петю, чего стоите?

В сенях что-то упало, зазвенело, чертыхнулось, и на пороге появился… папа. Мы, кутаясь в простыни, остолбенело уставились на него. Он тоже с удивлением смотрел на нашу размалеванную компанию, но недолго. Петух боком, горя бешеным янтарным глазом, затопотал когтистыми лапами в пушистых штанишках и пошел в наступление. Над его головой угрожающе вздымался мясисто-кровавый гребень, как боевой плюмаж древних римлян. Папа попятился и повторно грохнул чем-то в сенях, но Наташа набросила на петуха простыню, и тот притих.

— Здравия желаю! — приободрился папа.

— Откуда ты взялся? Командировка? — спросила мама.

— Как ты нас нашел? — я бросилась обниматься-целоваться.

Оказывается, он приехал не в командировку. Его перевели в Южный. Ну, не совсем в Южный, но почти. Хомутово рядом, минут пятнадцать автобусом. Я-то знаю. Иногда сбегаю с уроков и еду в аэропорт на 108-м маршруте, смотрю на самолеты, о Киеве думаю…

Вышли к газику папу провожать. Ему некогда. Служба.

— Слушай, раз уж меня перевели, может…

— Не знаю… — мама отвернулась.

— А что ты знаешь? Сколько можно скакать по оврагам?

— И валять дурака, — усмехнулась мама.

— Именно. Бросила бы свое поле. Тебе в городе работы мало?

— Мало…

Сосны мохнатыми лапами разогнали туман, расчистили небо для звезд. У еле тлеющего костра негромко напевал Дима:

Понимаешь, это просто, очень просто,
Для того, кто хоть однажды уходил.
Ты представь, что это остро, очень остро —
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.

Дверь газика хлопнула выстрелом. Фары осветили Василия Николаевича, бросившего в костер охапку хвороста. Огонь ожил, встрепенулся, заслонил маленький бесстрашный газик, убегающий по лесной дороге.

И пусть полным-полны набиты
Мне в дорогу чемоданы —
Память, грусть, неразделенные долги.
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги…

О, СУББОТА!

По субботам у нас генеральная уборка — вялая попытка внести элементы порядка в наш перманентный хаос. В будни всем некогда. Мама в поле, к вечеру возвращается измотанная и ничего не может. Суп, сваренный в огромной кастрюле на неделю, заканчивается к среде. Иногда раньше. Недавно исчез в понедельник. Вместе с кастрюлей. Брат, призванный к ответу, заявил: «Я его съел!» «Три литра?!» — изумились мы с мамой. «Я был голодный», — стоял на своем брат. «Хорошо, — смирилась мама, — предположим, ты решил повторить подвиг Гаргантюа. Но куда ты дел кастрюлю?» «Понятия не имею, — сделал честные глаза

брат. — Ее Булка куда-то засунула». «Еще чего!» — возмутилась я и, обиженная поклепом, гордо удалилась на балкон. С высоты пятого этажа увидела закопченную пропажу. «Мама! Вот она! Он ее выбросил!» — завопила я. Дальнейшее расследование показало, что брат грел на плите суп (всю кастрюлю, а не налил в ковшичек, вот балда!) и забыл. Опомнился, когда догорали остатки. Впредь он стал умнее. Курицу грел на батарее парового отопления.

Хаос в нашем доме — плод совместных усилий. Основной вклад вносит брат: он умеет делать бардак из ничего. Где прошел он — там все спотыкаются о камни (булыжники), приклеиваются к пластилину, запутываются в нитках, вымазываются гуашью, вляпываются в лужи, созданные притащенными щенками. По мере перемещения брата по квартире свинарник распространяется и достигает апогея как раз к субботе (дальше мы не проверяли). Мы с мамой тоже хороши. У нас книги с полок спрыгивают и разбегаются. Кроме того, у нас гости каждый вечер допоздна, а посуду мыть не хочется.

Поскольку суп кончается быстро, мама выдает нам по рублю на обед. Свой рубль брат проедает в школьной столовой, а я покупаю литровую банку персикового компота за 99 коп. Жаль, не догадалась пустые банки сразу ликвидировать (мусорное ведро — еще один повод для разборок), а складывала их, как дура, на балконе.

Там у нас официальная свалка. То есть хранится все, что никому не нужно, а выбросить жалко. Вдруг пригодится. Рассеянная мама (линолеум посреди кухни прожгли — не заметила) все-таки увидела злополучные банки и захотела торжества справедливости. «Почему ты ни с кем не поделилась?» «Так рубль мой. Что хочу — то и делаю», — попыталась я оправдаться. «Тебе рубль на обед дали, а не на разврат! Надо было и брату дать». «Поделись развратом с братом, — хмыкнула я. — Пусть свой рубль тратит. А то он налопается, а потом у меня половину отъест». «Это подло!» — мама стукнула кулаком по столу. Во! Нормально! Эх, надо было лучше следы заметать. Придется переходить на конфеты: фантики легче спрятать.

В субботу надо пулей лететь домой после уроков: помогать маме. Она честно старается все сделать до нашего прихода, но задумывается. Или зачитывается. В итоге к полудню в доме еще хуже, чем было. Постельное белье снято и ждет в углу устрашающим комом. Ободранные постели навевают мысли о сиротском приюте: на полосатых матрасах валяются как попало старые армейские одеяла (привет от папы) и подушки в дряхлых наперниках (привет от бабушек). В воздухе кружатся пух и перья, оседают у плинтусов легкими облачками. На плите шипит бульон (будущий суп на неделю), в ванной мокнут всякие тряпочки, стиральная машинка теряет резиновый шланг и выпускает на свободу потоки мыльной воды. Из книжных шкафов вынуты все книги (для наведения уже наконец порядка!), сложены зыбкими стопками, а мама сидит рядом на полу и так увлеченно читает, что не замечает нас с братом. Входную дверь открывать не надо — она днем открыта всегда, а ночью часто. Когда это утром случайно обнаруживается, все кричат друг на друга и выясняют, кто виноват, а потом машут рукой: «Ерунда! Кому мы нужны? Кругом советские люди».

По субботам у нас весело. Я пытаюсь распихать по углам то, что повытаскивала изо всех углов мама, брат ноет и путается под ногами, временный щенок шкодит, мама кричит, что ей никто-никто не помогает, папа приходит в гости и приводит очередного жениха. Мне никакие женихи не нужны, я люблю Сашу Гаврилова.

Женихи (молоденькие лейтенантики из хороших семей, сосланные в воспитательных целях на Сахалин из Москвы и Ленинграда) обалдевают от нашего тотального погрома. Папа решительно расчищает место, усаживает жениха и устраивает мою личную жизнь. Мне всего шестнадцать, но папу это не смущает. Во-первых, он думает о перспективе. Во-вторых, он все должен держать под контролем. Лей-

тенант есть? Есть! Дочка есть? Есть! Разрешите выполнять? Несчастные женихи смущаются, краснеют и не знают, куда деваться.

В этот раз папа притащил выпускника МФТИ им. Баумана, потенциального Эйнштейна, и страшно доволен качеством находки.

— Знакомься, Боря. Это — моя дочь, красавица и умница.

Жених вывинчивается из продавленного кресла, краснеет, кивает, бормочет. Красавица и умница (лохматая, потная, босая и т. д.) яростно метет пол, поднимая столбы пыли.

— Может, пойдете куда-нибудь? В кино. Или нет, лучше пусть Булка город покажет. Ты как, Боря, не против?

— Чего его показывать? — огрызаюсь, не прекращая махательных движений.

И что папа выдумал? Нужна я этому прилизанному Боре, как зайцу стоп-сигнал. Меня даже Саша Гаврилов не замечает…

— Булка, бросай свой веник, иди одевайся, — командует папа.

— У Булочки есть обязанности, — вмешивается мама. — Извините, Борис, но моя дочь сейчас занята. У нас принято, чтобы в доме был порядок.

— Простите… В другой раз… Так я пойду?

— Сиди! — приказывает папа, и жених снова оказывается в плену у кресла.

— Так! А чего это ты раскомандовался? — возмущается мама.

— А того, что это моя дочь и меня интересует ее судьба!

— Здрасьте! Ее судьба — школу окончить и в институт поступить.

— Так что? Уже нельзя человеку город показать?

Все! Надоели! Ухожу в свою комнату, ложусь на кровать и тупо созерцаю дно дубовой книжной полки, висящей надо мной. И что они кричат, как ненормальные?

— Некогда! Ей надо к экзаменам готовиться, а не по улицам шлендрать. Между прочим, МГУ — это серьезно, — восклицает мама.

— МГУ?! Ну ты додумалась! А связи? Ты уже нашла связи? При твоей безалаберности весьма сомнительно.

— Моя дочь будет поступать сама! — торжественно объявляет мама.

— Так я и знал! В этом доме все пущено на самотек. Булка! А ну иди сюда!

— Пришла…

Папа разглядывает меня, будто в первый раз видит. Обходит кругом (так-так-так…)

— Волосы светлые… не годятся. Глаза невразумительные… не пойдет. Рост еще туда-сюда… Фигура тоже не пойдет…

— Слушай, ты чего привязался к ребенку? — не выдерживает мама. — Какая муха тебя укусила?

— Да потому что все надо брать в свои руки! Короче. Булка, слушай сюда. У тебя только один плюс: ты с Сахалина. Будем делать из тебя коренной народ Севера!

Бум!!! Все вскочили и помчались в мою комнату. Узнавать, что это так здорово бумкнуло. А это полка! Дубовая книжная полка, набитая под завязку классикой русской литературы, рухнула и разрушила кровать, на которой я только что страдала.

— Вот! Что я говорил! — закричал папа. — В этом доме никогда не будет порядка! А если бы Булку прибило?

— А кто полку прибивал?! — закричала мама.

— Я… — скромно признался папа.

…Главный человек в колледже — Капитошка. Она делает расписание. У нас все борются за справедливость: «Почему у меня все субботы рабочие? Я тут помереть должна (должен), что ли? А некоторые ходят легкой походкой!» Те, кто

ходят легкой походкой, защищаются: «Да? А я в том семестре вообще не вылезала (вылезал) из аудитории! А вечерники? Вечерников вы не учитываете?»

Я легкой походкой хожу редко. Я синенькая с белыми разводами. В графике. Мои синенькие полосочки (с белыми разводами) все время налезают на субботы. Мужу не легче. Он красненький в клеточку. Если его полосочка изредка обрывается в пятницу, он все равно идет. Меня провожать, потому что собаки. Людей на улице ранним утром выходного дня нет, а собаки есть. Бродячие и злые. Как я.

Я вяло в субботу
Тащусь на работу.
Кому по субботам
Работать охота?
От злости зверею,
Студенты дрожат.
Верните еврею
Законный шабат!

Пропащий день! Студенты к семинару не готовы, лыжи домой навострили. А тут еще и практика срывается: открыла термостат, а колонии, посеянные позавчера по всем правилам науки, не выросли. Свет ночью отключали, что ли? И чем теперь прикажете заниматься целых две пары? Стихи писать?

В борьбе за шабат
Продолжаю сражаться.
Микробы — и те
Не хотят размножаться.
Я твердой рукой
Отключу термостат:
«Микробы, шабат!» —
И уеду в Эйлат.

И вдруг — о, счастье! Не верю своим глазам! Меня в субботу нет! Перечитываю расписание несколько раз, глажу разлинованную бумагу трепетной рукой и пускаюсь в пляс посреди холла. Вот оно, счастье!

— Чего распрыгалась? — спрашивает Капитошка.

— Выходной! Выходной! Ля-ля-ля!

— Ля-ля… Объявления читать надо.

Что? Где? Беленький листочек лаконично сообщает: «Субботник по уборке территории в 10.00». Вот это да! Все преподаватели после первой пары выведут своих питомцев на улицу и будут стоять ручки в брючки, организовывать процесс. А я, лишенная мощной студенческой поддержки, буду одна махать метлой!

О, суббота!

ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Папа появился внепланово, в пятницу. Снял мокрую от тающего снега шинель и объявил:

— Завтра никаких уборок. Все отменяется.

— С какого перепугу? — нахмурилась мама. — Макароны будешь? По-флотски.

— Буду, — он подхватил маму и завертел в ритме танго, напевая:

Для тебя, для тебя, для тебя
Мир прекраснее сделаю я,
И рассвет, и зарю
Я тебе подарю,
Громче петь попрошу соловья.

— Совсем сдурел?

Мама попыталась вырваться, но папа крепче сжал ее талию, требовательно раскрыл ладонь. Мама накрыла ее своей, и они пошли по диагонали кухни. Семь шагов к горбатому холодильнику, поворот, семь шагов к дровяному титану, наклон (ой, чуть не треснулась!), вытянули сцепленные руки вперед, как рабочий и колхозница, заскользили, прижавшись щекой к щеке.

Ты поверь, ты поверь, ты поверь:
Я сумею, всем сердцем любя,
С неба звезды достать,
Чтоб единственным стать
Для тебя, для тебя, для тебя, ча-ча-ча!

— Ну хватит, — мама высвободилась. — Какая муха тебя укусила? Ты наконец получил подполковника?

— Фи, какая проза, мадам.

— Ах, да, конечно. В этом случае ты бы в кабаке танцевал. Короче: или ешь свои макароны, или я не знаю что!

Мама сняла крышку со сковородки и бросила ее на стол, отчего та обиженно звякнула.

— Так. Не ценят здесь души прекрасные порывы. Вместо зрелищ предпочитают банальный хлеб. Булка, а ну иди сюда! — папа сделал такой пируэт, что с меня свалились тапки.

Буду имя твое повторять
Бесконечно, бесконечно,
Буду слушать опять и опять
Я слова твои…

— Иди ешь! Все остыло уже. Оставь Булку в покое!

— Папа, ты меня уронишь!

Только вечной должна быть любовь,
Только вечной, только вечной,
А иначе зачем, а иначе зачем
Столько ждать любви?! Ча-ча-ча!

Дзинь! Папа крутанул меня и смахнул локтем эмалированный бидон. Хорошо, что пустой.

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду я! — папа выхватил из кармана белые бумажки. — Вуаля! Мы идем в концерт! (Папа с мамой говорили «в концерт», потому что так было принято дома, в Киеве. А если кто-нибудь произносил «на концерт», они переглядывались, как заговорщики,

и лукаво перемигивались: это было признаком дурного тона.) Завтра! Приезжает Ян Френкель!

— Ох, ничего себе! — обрадовалась мама.

— Ура! — закричали мы с братом.

— Между прочим, в кассе билетов нет. Полный аншлаг. Но вы же меня знаете, — папа продолжил танцевальные па с бидоном, а за окном кружились снежинки, попадая в такт: «Только вечной должна быть любовь, только вечной, только вечной…»

Зал был полон. Многие сидели на приставных стульях, стояли вдоль стен. Папа предупредил, что наши места на галерке, но это он так пошутил: в драмтеатре ничего такого нет. Мы оказались в амфитеатре. В последнем ряду, зато в середине. Папа в парадной форме, мама в черном гипюровом платье на алом атласном чехле. Его сшила в Киеве знаменитая портниха, к которой без блата не пробиться. Мама полдня просидела в парикмахерской, надела бабушкины серьги. Бриллиантики, окружившие сапфиры-кабошоны, сверкали, отражая сияние то ли люстры, то ли маминых глаз. Мы с братом скромно надели школьную форму, вычищенную и отпаренную утюгом через мокрую марлю. А что делать, не оставаться же дома. Брат вырос из выходных штанов, а у меня нарядное платье летнее. Белый фартук не стала надевать — что я, ненормальная? Тем более посадила чернильное пятно, а оно ничем не выводится. Зато черный — отпад! Все девочки завидуют: с гофрированными крылышками и оборкой внизу. Ни у кого такого нет. А еще у меня сапоги на каблучке. Папа достал в военторге.

Папа бросил взгляд на мой комсомольский значок и пионерский галстук брата, одобрил:

— Идеологически выдержанные дети. Молодцы!

А про маму ничего не сказал. Только глаза у него сделались почему-то печальные. И у мамы тоже. Чтобы они не грустили, мы посадили их в центр, а сами сели по бокам. Да и безопаснее так, иначе брат непременно выпросит и получит. Хотя в театре он обычно из-за угла мешком прибитый. Мечтает стать артистом, ха! Артисты не бывают такими писклявыми и лопоухими. Это повлияла папина вечная художественная самодеятельность, да еще я нечаянно добавила: устроила домашнюю декламацию Блока. Размахивала руками и орала как резаная: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами!» Мой ор произвел неизгладимое впечатление на юную неокрепшую душу.

— Какие прелестные дети! Ваши? — обернулась папина знакомая, сидящая впереди.

— Разве это дети? Это же сволочи! — немедленно откликнулся брат.

— Простите, — пробормотала знакомая, а мы расхохотались. Потому что брат процитировал слова из папиного коронного анекдота.

— Как можно так воспитывать? — возмутилась знакомая, но ее заглушили аплодисменты.

Ян Френкель сел к роялю, пробежался пальцами по клавишам и запел:

Для тебя, для тебя, для тебя
Самым лучшим мне хочется быть.
Все земные пути
Я готов обойти,
Все моря я готов переплыть…

Черноволосый усатый человек на сцене пел для них. Для мамы и папы. Слегка покачивались в такт мелодии мамины серьги, дрожали и искрились.

Вскоре весь зал подпевал композитору. Оказывается, мы прекрасно знали его песни. А он прекрасно знал каждого из нас, напоминая, что «говорят, геологи — романтики, только это, братцы, ерунда», сожалея: «слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться с тобою пора», посмеиваясь, «что самолеты сами не летают, и пароходы сами не плывут, и мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут». На сцену белыми журавликами летели записочки, подхваченные аплодисментами, просили спеть про солдат, русское поле, калину красную. Старые, любимые, выученные наизусть песни. И вот — новая. Ах, какой замечательный неожиданный подарок!

Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода.
Прибой мою тельняшку просолил,
И я живу у самого восхода, —

негромко начал Френкель, и зал зашумел штормовым прибоем, не жалея ладоней. Песню пришлось повторить четыре раза. Все быстро выучили припев и подхватывали:

А почта с пересадками летит с материка
До самой дальней гавани Союза,
Где я швыряю камешки с крутого бережка
Далекого пролива Лаперуза.

Папа достал блокнот и сосредоточенно что-то черкал, задумывался, исправлял, переписывал набело. Свернутый листочек запорхал над головами и добрался до сцены. Композитор прочитал и улыбнулся.

— Что ты ему нацарапал? — спросила мама.

— Обожди, сейчас узнаешь, — отмахнулся папа.

— А ведь автор записки прав. Я действительно заметил на Сахалине все, — он заглянул в листочек и перечислил: — Прибой, сейнера, немногословных мужчин. Кроме главного. Ну, это мы сейчас поправим.

Он сел к роялю и спел новые слова, сочиненные папой:

А женщин замечательных у нас,
Куда ты ни пойдешь, везде ты встретишь.
Как жаль, что только камешки увидел и бросал,
А главного, пожалуй, не заметил.

Папа торжествующе посмотрел на маму.

— Вот так-то. Справедливость восстановлена.

После концерта он проводил нас домой. Мы медленно шли в окружении песен. Густая толпа, выплеснувшись из театра, постепенно редела, распадаясь на ручейки, вливаясь в боковые улицы и переулки, унося мелодии туда, где спит восход, дремлют синие льдины. В черных домах вспыхивали поющие окна, звуки наполняли тесные кухни, вырывались из форточек, летели к далекому проливу Лаперуза.

У подъезда мы оглянулись. Папа стоял под фонарем в конусе желтого света, в котором золотые снежинки танцевали плавное танго. Мы помахали ему на прощанье, и он махнул рукой нам в ответ.

ТЕНЬ САПОГА

Брат поругался с главным режиссером на почве смехотворной зарплаты, поругался с тещей (на той же почве), хлопнул дверью театра, хлопнул дверью тещи и перебрался к маме. С вещами, чадами и домочадцами. То есть тремя клеенчатыми китайскими сумками, Светкой-второй и детьми. Светка-вторая тоже оказалась безработной, потому что хлопала теми же дверьми в знак солидарности. Светка-первая буянила по телефону, требовала алименты и пугала возвращением. Ситуация казалась безвыходной, но у брата родилась идея. Он придумал план молниеносного обогащения.

— Построим свой храм Мельпомены. Будем давать спектакли в детских садах.

— Вдвоем? — усомнилась Светка-вторая.

— Легко! Это же будет театр теней.

— Еще месяц без денег — и тени обеспечены, — пообещала Светка-вторая.

— Без паники! Я уже все продумал, даже название. Театр «Той-Тени».

Почему «Той»? Что там у него в голове перемкнуло в очередной раз? Наверное, возникли неосознанные ассоциации с тещиным той-терьером, пучеглазой злюкой, захлебывающейся истеричным визгом.

На подготовку были брошены все силы. Мама резала простыни и пыталась их натянуть на раму для сушки корюшки, чтобы получился экран. Светка-вторая носилась по садикам, договаривалась о гастролях. Дети радостно кромсали бумагу, вырезая силуэты декораций и заваливая дом обрезками. Брат укрощал настольную лампу, добиваясь правильного освещения. Побочным эффектом были перегоревшие пробки и погружение квартиры во мрак. Хаос царил вне зависимости от освещения. Срочно вызванный сосед чинил свет за пол-литра. Тени зловеще удлинялись, извивались, ползли, превращая безобидную козу рогатую в жуткого монстра. Но терпение и труд все перетерли. Коза рогатая, созданная растопыренными пальцами, приобрела пристойные очертания. Кроме козы брат умел делать кролика (при необходимости зайчика) и кукиш (был забракован сразу).

Персонажей решили вырезать из бумаги, но не могли определиться, каких именно. Последовательно были отвергнуты: Курочка Ряба, Колобок и Маша вместе с медведями. Потому что банально. Отказались от Дюймовочки, Русалочки и Кота в сапогах. Потому что сложно. И тут маму осенило:

— Зачем нам Кот в сапогах? Когда есть просто сапог. Безо всяких котов.

Все уставились на маму, ничего не понимая, а она торжественно объявила:

— Наша с папой песня! Любимая! — она подмигнула, щелкнула пальцами и запела, отбивая такт ладонями по столу:

Давным-давно,
Давным-давно,
Жил-поживал один Сапог кирзовой кожи,
И тот Сапог
Был одинок
И на другие сапоги точь-в-точь похожий.

— Да! — закричал брат. — Гениально! У нас будет мюзик-холл!

— И артистов изготовить несложно, — подчеркнула мама, гордясь своим предложением.

— И на фига нам бумага? — брат бросился к кладовке, набросал посреди прихожей гору обуви, порылся и извлек старый сапог и босоножку на шпильке. Критически осмотрел находки и продолжил раскопки. — Еще нужен лакированный штиблет. У нас вроде такие не водятся?

— Зачем лакированный? — заметила мама. — Тень не бывает блестящей. Возьми свой ботинок и уже успокойся.

Но брат успокоиться не мог. Он бегал от окна к двери и обратно, бормоча:

— Ботинок может стать штиблетом при некотором нажиме на воображение. Но сапог не годится. Это же образ. Метафора. Аллегория. Сапог — олицетворение пролетария. Ему нужны усы.

— Булыжник ему нужен, пролетарию твоему, — обронила я, но меня никто не услышал.

— Без проблем, — мама схватила ножницы и отчикала от веника замечательные усы, но они оказались коротковаты.

Веник расчленили. Получились пышные усы, отчего Сапог стал похож на городового из кино. На радостях брат повел городового-пролетария по воздуху и бодро спел:

Однажды он
В кафе-салон
В своей кирзовой амуниции ввалился,
Но вот беда,
Да-да-да-да,
Он увидал там Босоножку и влюбился.

Сапог запрыгал, как обезумевший от любви павиан. Мама высоко подняла Босоножку, подчеркивая разницу в социальном положении. Мамино лицо выражало презрение аристократки к зарвавшемуся плебею. Брат, корча свирепые рожи, что означало пламенную страсть, продолжил:

В любви своей
Подходит к ней
И говорит он ей, оправившись от скрипа:
«Царица фей!
О, будь моей!
Я от любви к тебе горю, как после гриппа!»

Сапог попер на изящную красотку, но та отпрянула от пылкого влюбленного и маминым жеманным голоском пропищала:

Она в ответ
Сказала: «Нет!
К нулю равняю я твои признанья эти.
О, боже, свет!
О, сколько лет
Мечтаю я о лакированном штиблете!»

Светка-вторая не растерялась (вот что значит артистическая натура), схватила Штиблет, то есть ботинок, и прижала его к Босоножке.

— Эротический этюд, — пробормотала я. — Детский сад будет в восторге.

Мама мечтательно посмотрела в окно, где, как обычно, извергалось жерло кочегарки, и поделилась планами на будущее:

«Мне нужен фат,
Чтоб был богат,
Чтоб покупал мне крепдешин и чернобурки,
А ты, Сапог! (презрительно)
Что дать мне мог? (еще презрительнее)
Лишь на каблук свои налипшие окурки!»

— Все! — хором крикнуло семейное трио и поклонилось.

— Нет, не все, — не согласилась я. — Босоножке и Штиблету не хватает шика.

— Штиблету вставим сигару, — нашелся брат.

— С ума сошел? В детский сад сигару? Ты еще бутылку ему дай.

— М-да… — задумался брат. — Это мысль. Для создания реалистического образа…

— Никакого реализма! — рявкнула я, но сжалилась: — Ладно, так и быть. Склею ему цилиндр из бумаги. А Босоножке…

— А Босоножке нужна горжетка. Или боа, — придумала мама.

— О! — вскричал брат. — Я сейчас!

Он метнулся в прихожую и вернулся, потрясая маминым зимним пальто.

— Воротник! Воротник отпорем — там же по сценарию полагается чернобурка. Вот здорово будет!

— Здоровее не бывает, — я отобрала пальто. — Хватит с нас веника.

— Нет, я в принципе не против, — сказала мама. — Во имя искусства…

— Я против! Вы тут все с ума посходили!.. — я осеклась.

Незапертая дверь отворилась и впустила главного режиссера. Он обескураженно оглядел гору стоптанных ветеранов обувной промышленности и галантно приложился к маминой ручке. Другую, с Босоножкой, она спрятала за спину.

— Уборку затеяли?

— Нет. Это реквизит, — объяснила мама. — У нас генеральная репетиция. Ставим спектакль.

— Из жизни обуви?

— Именно. Как вы догадались? — Босоножка выпорхнула из-за маминой спины и закачалась на ремешке.

— Опыт. Ну что, ребята, побегали — и хватит. Пора возвращаться в лоно… То есть в пенаты… То есть хватит валять дурака уже!

— И то верно, — поддержала его мама. — Пойдемте пить чай…

Брат со Светкой-второй пошли провожать режиссера, а то после чая его надо было сдать с рук на руки жене. Он был так доволен восстановлением труппы, что слегка увлекся. Я кое-как утолкла братнину ораву, перевозбужденную репетицией, и заглянула в темную кухню. Мама стояла у окна.

— Ма, спят вроде. Пойду. Поздно уже.

Она не ответила. Я подошла и обняла ее за плечи. Кочегарка отдыхала, выполнив дневную норму. Черный снег блестел антрацитовыми россыпями в свете одинокого фонаря, облака стирали грязные разводы с яркого шара луны.

— Ма, ты чего? Все разрулилось. Ребята в театр вернулись, главный квартиру пообещал выбить. Ну чего ты, в самом деле?

— Смотри, какие звезды, — тихо сказала мама и добавила: — Все-таки с папой эта песня была гораздо лучше…

РАЗДАЧА СЛОНОВ И ПОДАРКОВ

На Андреевском спуске никаких слонов не было, это папа для красного словца пообещал. Там и без слонов хватало суеты. Когда-то тихая извилистая улица, бегущая вверх, к Андреевской церкви, превратилась в шумную приманку для туристов. Арбат по-киевски. Дети разных народов скользили по гладким булыжникам старинной мостовой, выдирались из цепких рук торговцев, глазели на странные, непохожие друг на друга здания.

— Ой, дом Булгакова, — я заметила мемориальную доску на доме под номером 13.

В детстве мы с соседскими детьми удирали сюда (это строго запрещалось) и играли в казаков-разбойников. Чем-то нас этот дом приманивал, хотя выше стоял сказочный, который называли замком Ричарда Львиное Сердце. Странно, почему нас сюда тянуло? Мы тогда о писателе ничего не знали. Когда я выросла и прочитала «Белую гвардию», картинка сложилась: это тот самый дом, из моего детства. На нижнем этаже жил хозяин дома Лисович, прозванный за вредность Василисой, а угловую комнату с балконом и отдельным входом с улицы занимал в юные годы будущий писатель.

— Пойдем, некогда. Потом, — папа потащил меня за руку.

Интересно, когда это «потом»? Завтра у нас поезд, мы едем в Крым. Вот так всегда…

Сувенирные лотки завалены всякими глупостями: матрешками с лицами политиков; символами ушедшей эпохи — значками, бюстами Владимира Ильича, ушанками, валенками. У старых стен на натянутых веревках прицеплены бельевыми прищепками уродливые футболки с гербами, серпами, молотами; телогрейки, шинели, галифе. Выставлены псевдонародные наряды: лапти, вышитые сорочки, веночки, плахты и прочая бутафория. Глиняные глечики и макитры унизывают импровизированный плетень с искусственными подсолнухами. Гроздьями висят стеклянные мониста, нежно позвякивают на ветру. Чеканка, вышивки, рушники, открытки, буклеты — в глазах рябит.

— Утюг… — бросаюсь к нему, как к родному. Точно такой же был у бабушек: с дверцей для угольков.

— Зачем тебе этот хлам? — папа настойчиво волочет меня дальше.

Он лучше знает, что мне надо. И правда: как я с этой тяжестью сначала в Алушту, потом на Сахалин? Но я оглядываюсь, пока лоток не скрывается за поворотом.

Ряженые в костюмах времен Марии-Антуанетты, рыцарских походов, расцвета Древнего Рима… Пастушки, фавны, бояре, витязи, самураи… Скрипачи, флейтисты, гитаристы, баянисты-гармонисты, клоуны, акробаты, заклинатели змей… Нищие, побирушки, попрошайки… Сахарная вата, петушки на палочке, мороженое, соки-воды… Три Петра Первых и два Ленина косятся друг на друга. Конкуренция, ничего не попишешь. О, шарманщик! С попугаем, вытягивающим загнутым клювом счастье из шкатулки. Мим, неподвижно застывший, тающий от жары в синтетическом золотом трико, делает резкий выпад, пугая нервных зевак. Перевернутые пирамиды шаурмы шипят, вращаются на стержнях. Опереточную карету тянет лошадь с гривой, заплетенной в косички, роняет яблоки на мостовую. Аттракционы крутят, вертят, подбрасывают, качают смельчаков…

Хлопцы в необъятных алых шароварах, вышитых рубашках, папахах над лихо заломленными чубами. Дивчины в национальных костюмах (сорочки, веночки, сапожки китайского происхождения). Все поют, перекрикивая друг друга. Кто про Днепр, который «реве и стогне». Кто про човен и дивчину. Кто сожалеет, что он

не сокол. Дивные песни, нежные и лиричные, которые мы с мамой иногда поем вечерами, в этой толпе почему-то не трогают.

— Слушай, пошли отсюда, — не могу сдержать раздражения. Испортили улицу…

— Не спеши. Я тебя сюда чего привел? — спрашивает папа. — Вот! Выбирай, — он широким жестом указывает на картины.

Как тут выберешь? Я все хочу. Этюды, натюрморты, пейзажи… Акварель, масло, сепия… Ах, какие замечательные штуки! Настоящие, а не ширпотреб. Художники держатся с достоинством, не пристают, не зазывают — знают себе цену.

— Вот она, — я остановилась у акварели.

Андреевская церковь, бело-бирюзовая красавица. Над нею грозовое небо с сизыми облаками. Что ж, бывало и такое. Но чаще, когда я просыпалась ранним утром в нашем доме на Боричевом Току, она парила за окном в безоблачной синеве.

— Почем картина? — папа, не торгуясь, щедро расплатился.

— Спасибо.

— Это еще не все! Сейчас ты упадешь!

Да. Можно упасть. Юная художница написала наш дом. Но как это возможно? Его снесли, когда автор картины еще в коляске каталась.

— А вот! — папа заговорщически подмигнул художнице, но раскололся: — Это я заказал. Нарисовал эскиз, все объяснил. Сюжет — мой, исполнение — Катюши.

— Ваш папа хорошо объяснил, — Катюша застенчиво улыбается. — Нравится?

— Очень! — искренне говорю я.

Картина дилетантская, сделанная неопытной, но старательной рукой. Но это не имеет никакого значения. Арка, рядом парадное. На крыше — две симметричные стеклянные пирамидки. Два окна, крайние в бельэтаже. Связанные крючком занавески. На подоконниках вазоны с китайской розой и лилией, которая цветет только раз в году…

— Эй! Отставить хлюпанье! — командует папа, и я послушно киваю.

— Это мне?

— Тут понимаешь, какое дело… — папа мнется, разглядывает зеленые колючие каштанчики в шумящей кроне над нами. — Это маме. Подарок на день рождения. Я дедов флигель не заказывал, его после войны снесли. Но все равно, это наш с мамой дом, мы же в одном дворе выросли…

Папин подарок благополучно прокатился с нами в Крым, подождал, пока мы сгорим и накупаемся, и приехал на Сахалин. Без рамы. Раму мы оставили в Киеве, куда с ней таскаться? Оказалось, зря. Нигде не смогли заказать багет. Пытались найти подходящую по размеру корейскую картину, но рамы были такими же кошмарными, как и сами произведения. С варварскими блестками, стекляшками, загогулинами и вообще пластмассовые. Наконец кто-то послал меня в краеведческий музей: вроде там какой-то чудо-столяр работает.

Я обошла здание старинной японской постройки и нашла в подвале столярную мастерскую. Столяр не подвел: сделал простую честную раму без дурацких финтифлюшек. Ну вот. Подарок для души есть. Но это пока секрет. Представляю, как мама обрадуется. А что еще купить? Может, кофточку?

— Ма, что тебе подарить на день рождения?

Мама улыбнулась и, не раздумывая, ответила:

— Подари мне конструктор «Лего».

И я поняла, что будет построен дом с аркой и пирамидками на крыше, а на подоконниках двух крайних окон бельэтажа будут стоять вазоны с китайской розой и лилией, которая цветет только раз в году…

МЫ НА ЛОДОЧКЕ КАТАЛИСЬ

Папа сияет. Всех поймал. Приехал к завтраку, согнал в лодку и выгреб на середину озера.

Поначалу хотели спрятать маму в санатории под Киевом, чтобы не травмировать папину хрупкую личную жизнь, а нас с мужем, малышом и двумя старшими поселить у папы. Нас уже перевели на легальное положение. Лидочка сдалась. Убедилась, что мы на папу не покушаемся. На Масю обрушилась лавина подпольных родственников, отчего она вначале ошалела, а потом обрадовалась. Чего не скажешь о Лидочке: она безо всяких радостей ошалела от наших масштабов. Масштабы, ха! Вот если бы брат явился со своими четырьмя и тещей — тогда да.

Было принято экстренное решение сплавить нас подальше, то есть к маме. Папа мобилизовался, в рекордные сроки организовал путевки (были бы деньги) и курортные карты (были бы связи). Деньги были у нас, связи — у папы. Но возникли непредвиденные осложнения: понадобилась справка о прививках малыша. Папа не растерялся и пошел в медицинский кабинет ближайшего детского сада. Он сказал: «Дайте справку воспитаннику ясельной группы». И назвал нашу фамилию, обильно рассеянную по Украине. Далее по плану следовало возмущение: «Ага! Так я и знал, что потеряли карточку! Тогда дайте жалобную книгу!», извинения и сочинение справки «с потолка». Но жизнь богаче фантазии. Медсестра перебрала стопку, нашла карточку с нашей фамилией (заодно и с именем малыша!) и выдала бумажку на законных основаниях. Папа весь день смеялся, со вкусом пересказывая фантастическое событие, с каждым разом обраставшее новыми реалистическими деталями.

Так наша беспокойная семейка оказалась в санатории, но расползалась. Все удирали в Киев, подсунув малыша зазевавшемуся. Папа нервничал. Контроль и общее руководство теряли смысл. Ежедневные инспекторские набеги не приносили плодов. Особую тревогу вызывало подрастающее поколение: пятнадцатилетняя внучка по вечерам упархивала на танцплощадку, тринадцатилетний внук висел на турнике как мешок с картошкой, а малыш не мог продекламировать даже первую главу из «Евгения Онегина».

Чаще всего в роли зазевавшегося оказывался папа, но, оставшись наедине с малышом, не терял даром времени.

— Мой дядя самых честных правил, — восклицал он, удовлетворенно отмечая восхищенные взгляды сильно пожилых отдыхающих.

— Дядя! — радостно подтверждал малыш.

— Когда не в шутку занемог, — с усиленным энтузиазмом продолжал папа, окрыленный одобрением масс.

— Мог! — пищал малыш, повторяя последний слог как попка-дурак.

— Ах, какая лапочка! — таяли от умиления зрительницы. — Это мальчик или девочка?

— Это мужчина, мадам, — галантно склонял голову папа.

— Ах, ты мой хорошенький! Ангел! Ну просто натуральный ангел! Вот, возьми конфетку, деточка, — ворковали дамы, прижимая белокурого пухленького ангелочка к своим знойным выпуклостям.

Вскоре я прицепила к футболке малыша огромный самодельный значок с устрашающей надписью: «КОНФЕТАМИ НЕ КОРМИТЬ!», а папа переключился на среднего внука и был вознагражден окружением стройных юных красоток в тренажерном зале взамен прежних обладательниц неопределенно-расплывчатых форм. Правда, утратил чувство реальности и переборщил со штангой, после чего, потирая спину, занялся внучкой. Пока он для конспирации нюхал цветочки на

клумбе у танцплощадки, без присмотра оставалась Мася. Тогда он привез Масю и выгуливал обеих дев одномоментно.

Самой неорганизованной оказалась мама — сбегала в Киев при первой возможности и упоенно носилась по любимым улицам в компании верных подруг.

Но из лодки в центре озера несильно смоешься. Как уже было сказано выше, папа сиял. Он греб сильными рывками, гордясь неутраченными навыками морского волка. Зеркальная гладь разбивалась ударами весел, из воды выпархивали солнечные зайчики, легко скользили к берегу и прыгали в ветвях. Ивы купали длинные косы, томно прихорашивались, глядя на свое отражение. В небе таял след реактивного самолета, сливался с редкими облаками. Ах, как хорошо! Полная идиллия в благородном семействе: никто не ругается, никто не дерется, и даже малыш не визжит против обыкновения. Девы сидят на корме, мечтают. Им по штату положено. Между ними всего полтора года разницы, но в их возрасте это целая пропасть. Мася уже цветущая барышня, поэтому на ней условная маечка и микроскопические шортики, а дочь пока угловатый подросток, запакованный в джинсы и свитер с глухим воротом, который она поддергивает к носу: прячется. Средний сын якобы безмятежно полощет руку в прохладной воде, а сам коварно замышляет обрызгать дев, но пока воздерживается под моими грозными взглядами. Малыш надежно зажат между мною и мужем на всякий случай — и правильно. Всякий случай едва не произошел: мама, сильно качнув лодку, перебралась к папе и отобрала весло. Слегка красуясь, они синхронно наклонялись вперед и откидывались назад так дружно, весело и красиво, что мне на мгновение показалось: ничего не было. И они всегда были вместе — мои мама и папа.

— Ба, а ты вообще суперски умеешь, — удивилась дочь.

— Ха! Еще бы! Твоя бабушка — чемпионка Киева по гребле, — хмыкнул папа.

— Ой, только не надо иронии, — нахмурилась мама.

— Ба, расскажи, — затребовали старшие внуки.

— Да ну, глупости.

— Просто эти ненормальные вылезли на воду, когда соревнования отменили из-за жутких волн, и единственные прителепались к старту. Так судьям ничего не оставалось, как объявить этих чокнутых чемпионками, — пояснил папа.

— Чего это мы чокнутые? — возмутилась мама. — Ну ладно — я. А Мирка при чем?

— Да вы все одинаковые — и ты, и твои подружки. Все-все-все, не буду! — спохватился папа и в знак перемирия затянул:

Мы с тобою на лодке катались,
С неба ясное солнце пекло…

И наш дружный хор грянул, заглушая надвигающийся скандал:

Не катались, а все целовались,
И посеяли где-то весло.

Весла вспарывали воду, вспугивали стрекоз, внезапно налетевших трепещущей стайкой. Маленькие вертолетики ненадолго приседали на борт и снова взмывали золотистыми брызгами.

И пока ты меня целовала
Без отрыва четырнадцать раз,
То весло между тем уплывало,
И уплыло далеко от нас.

— Между прочим, бабушка не чокнутая. Чокнутые на ЭВМ не работают. Между прочим, бабушку уважают. Она даже начальника послала, — выпалила дочь необычно длинную тираду.

— Как это послала? — насторожился папа.

— Выпросил, — сердито ответила мама. — Вызвал к себе, ходил вокруг да около, а потом придумал: «Вы человек уважаемый, и специалист, и всякое такое, так вам нетрудно запоминать, о чем в отделе говорят. Или лучше записывать». Ну, я ему выдала, будьте уверены. А потом в отдел вернулась, злющая. Все ко мне кинулись: «Ну что? Зачем вызывал?» А я так громко, чтобы он услышал (стенки-то тонкие): «Хотел, чтобы я на всех стучала!»

— Ну ты даешь, — не одобрил папа. — Какого черта в бутылку полезла? Надо быть дипломатичней.

— Тактичней, симпатичней, — беззаботно пропела мама.

— Да это очень серьезно! — раскипятился папа. — Как можно быть такой легкомысленной?

— А что, надо быть стукачкой? — разозлилась мама.

— Еще чего не хватало! Надо было промолчать, само бы все рассосалось. Вот, например, Иосиф Флавий — трех императоров выдержал. Думаешь, ему сладко было?

— Кисло. А слабо императоров назвать? — лукаво прищурилась мама.

— Подумаешь! Тит, Домициан и этот, как его? — папа посмотрел на небо, будто там были начертаны алые письмена. — Этот… Веспасиан, вот!

— Не в той последовательности, — мама сильно ударила веслом, отчего лодку крутануло влево.

— При чем тут последовательность? При чем тут это, когда я говорил про Иосифа Флавия! Трех перетерпел и женился, между прочим, на ком хотел! — папа резко опустил весло и так рванул, что лодку дернуло вправо.

— А! Самое главное — бегать за юбками! — лодка ринулась влево.

— Да! — рванулась вправо.

— Бабник несчастный! — влево.

— Гнусная ложь! — вправо.

— Все! Сушите весла, пишите письма! С меня хватит! — мама обрушила на нас веер брызг и прямо в платье и босоножках бросилась за борт.

— Стой, сумасшедшая!

— Бабушка, куда ты?

— Мама, вернись! Папа, догони ее!

— Бабочка купается?

— Вернись, я все прощу! — папа греб как одержимый и, каждым взмахом ставя восклицательный знак, орал:

Берег медленно! к нам! приближался!
Ты ушла! не сказавши! двух слов!
А я, бедненький! в лодке остался!
Без тебя! без весла! без штанов!

К берегу наша визжаще-поющая лодка прибыла одновременно с мамой. Какой-то седой долговязый тип помог ей выбраться на скользкие мостки и, явно волнуясь, спросил:

— Это ты? С ума сойти, неужели это ты?

Мама отжала подол платья, тряхнула мокрыми волосами, посмотрела внимательно и под сединой и морщинами разглядела своего однокурсника.

— Ой, а как ты меня узнал? В таком виде…
— В таком виде можешь быть только ты, — серьезно ответил однокурсник.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ!

Мама вышла на пенсию и затосковала. Насчет пенсии — это была наша идея. Мы решили, что ей пора отдыхать. А о скуке можно не беспокоиться. Мама и скука — понятия несовместимые. Пусть читает, сколько хочет — всю жизнь об этом мечтала; просыпается сама, а не по будильнику; гуляет, ходит в кино, общается с друзьями — да мало ли приятных занятий! Но она бродила по квартире до обеда, а порой и до вечера, в старом байковом халате, накинутом на ночную рубашку, с неприбранными волосами, кое-как стянутыми в сиротский хвостик легкомысленной резиночкой. Постель все чаще оставалась незастеленной (какой смысл, все равно вечером расстилать), пепельницы во всех комнатах и кухне переполнялись, раскрытые книги и журналы валялись где попало, пыль укрывала когда-то блестящую мебель тусклым покрывалом.

Я заскакивала после работы, распахивала настежь форточки и кричала: «Хоть топор вешай! Почему сидишь весь день в ночной рубашке? Ты ела хоть что-нибудь?!» Мама виновато моргала длинными ресницами, ежилась, зябко куталась в бабушкин штопаный-перештопаный платок и рассеянно брала очередную беломорину. И такой неприкаянно-жалкий вид был у нее, что сердце заходилось. Я садилась на пол и, глядя снизу вверх, просила: «Ну хочешь, в театр пойдем? Или к тете Тамаре». Но мама не хотела ничего. Вообще.

Иногда судорожно, рывками, она возвращалась, отмывала до блеска квартиру, делала парикмахерскую прическу и даже красила губы, но потом неизменно впадала в анабиоз.

Оживила ее перестройка. В дом ворвался веселый ветер, трепал белые тюлевые занавески, выметал пыль, выдувал сизый дым, листал вольный «Огонек», шуршал смелыми газетами, рвал лозунги за окнами. Телевизор орал: свобода! Радио пело: гласность! Наспех изданные книги кричали: правда! Застойное болото всколыхнулось, забурлило, очнулось. Мама жадно впитывала смелые идеи, радовалась, восхищалась и с порога обрушивала на каждого входящего новости. Новостей было много. Исчезли продукты, прочие товары, освещение на улицах, отопление в домах и зарплата. Появились «комки», братки и рэкетиры.

Маму это нисколько не пугало.

— Ерунда! — она восторженно распахивала сияющие глаза. — Это все временно. А вы читали «Архипелаг Гулаг»? А вы знаете, что показывали Сахарова? А «Покаяние» вы уже смотрели? Нет? Я не понимаю, как можно? Немедленно посмотрите!

— Мама, — слабо отбивалась я. — Мне некогда.

— Зачем ты живешь? — кипятилась она. — Как амеба какая-то, ничем не интересуешься. А ведь мы в такое интересное время попали! Аж дух захватывает!

Дух и у меня захватывало. Мы с мужем метались и изворачивались, добывая самое необходимое. Мама в магазины не ходила. После того как она потеряла талоны, там нечего было делать. Да и ни к чему: мы приносили ей честно добытое и завоеванное.

Бурлили водоворотами течения, толпились движения, вырастали партии и общественные организации. В числе прочих материализовалось еврейское общество, что было совсем уж невероятным. Мы с мамой пошли на первое собрание, организованное

в школе милиции, удивляясь: неужели на Сахалине есть евреи? Оказалось — есть. Немного. Солидные дяденьки с пузатыми портфелями, в шляпах и галстуках, с немым вопросом во взгляде: «Что, уже можно?» Осторожно присаживались на края кресел в полутемном зале, оглядывались: «Морды бить будут или так?» Сквозь настороженность проглядывала надежда: вдруг полагаются компенсации за многолетние притеснения по пятой графе? Льготы или выплаты с процентами за выслугу лет? Бабушки-божьи-одуванчики, умудренные опытом, иллюзий не питали, пугливо вздрагивали: «Как всех запишут да пересчитают», одергивали внуков, беззаботно носившихся у сцены.

Вышла девица старшего комсомольского возраста, встала за трибуну — точь-в-точь Вера Марецкая из фильма «Член правительства». Я шепнула маме:

— Вот стою я перед вами, простая русская баба…

— Да ну тебя. Вечно все опошлишь, — отмахнулась мама.

— Товарищи! — звонко провозгласила девица. — Первое заседание еврейского общества прошу считать открытым!

В зале раздались два-три неуверенных хлопка, и девица продолжила:

— Для ведения собрания необходимо выбрать президиум, — она широко повела ладонью в направлении длинного стола, крытого кумачовой скатертью, с графином и гранеными стаканами в центре.

— А какая повестка? — пискнула бабушка-одуванчик.

Шляпы с галстуками безмолвствовали.

— Ах, да, — спохватилась девица. — Мы собрались благодаря перестройке. Советская власть, угнетавшая народы, пала. Да здравствуют рыночные отношения, товарищи! Сейчас все объединяются: украинцы, татары и даже грузины. Мы не можем остаться в стороне, товарищи! Мы должны возродить национальную культуру и традиции. Среди нас есть уважаемые ветераны, которые еще что-то помнят и могут передать молодому поколению.

— Мы помним, — оживились старушки.

— Я помню рецепты. Фиш, форшмак…

— Цимес…

— Ай, оставьте, какой цимес? Вот кнейдлах и штрудель — это я понимаю!

— А талоны дадут дополнительные?

— Я вас умоляю! При чем еда? При чем еда, когда нет никаких продуктов? Вам тут говорят за культуру.

— А! За культуру? Так нате вам культуру, — одуванчиковая старушка в кружевном воротничке встала и затянула тонким дребезжащим голосом:

Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,
Грустная-грустная в каждой струне,
Звенит балалайка где-то в Клондайке,
Русская песня в чужой стороне…

— При чем Клондайк? Вы хотите, чтобы нам придумали укрывательство золота и устроили обыск?

— Есть другие песни, хорошие. Про маму, — испугалась старушка и начала петь политически правильную песню, но ее заглушил брюнет мефистофельского облика. Он прыгнул на сцену, как чертик из табакерки, и закричал:

— Распыляетесь, граждане! Не песни надо распевать, а ковать национальное единство! Пришло время доказать им, что мы не позволим!

— Кому это «им»? — пискнула бабушка с воротничком.

— Им — это большинству, которое нас притесняло!

Шляпы с галстуками исчезли мгновенно.

— Им надо показать! — продолжил оратор.

— Это провокация? — прошелестела старушка в беретике.

— Я знаю? — ответила ей соседка.

Мамины щеки расцвели алыми лихорадочными пятнами, она нервно покусывала губы и уже привстала. Я поняла, что маму вместе с оратором надо срочно спасать, иначе они окажутся не в школе, а в настоящей милиции. Вскочила, опередив маму, и выпалила:

— Как вам не стыдно? Вы понимаете, что несете?

— Я?! Борюсь за справедливость!

— Да какая справедливость? Вы призываете к борьбе с людьми, среди которых мы живем! Да я в глаза смотреть не смогу своим друзьям! Кстати, кто вы такой?

— Я? Я — турок! — гордо заявил борец за равноправие евреев.

— А чего нас тормошишь, сынок? — ласково спросила старушка в беретике.

— Турок пока не собирали, — признался оратор.

— Все ясно, — я засмеялась. — Короче, ребята. Постановили: мы за мир и дружбу. И точка!

— Правильно!

— И я того же мнения!

— Нет, когда у меня муж украинец, а зять латыш, так я буду с внуками воевать?

— Хватит! — я подняла руку, успокаивая разбушевавшихся старушек. — Победила дружба. Так и в протокол запишите. Мама, пошли!

И мы ушли, сопровождаемые говорливой толпой старушек, оставив трибуну с растерянной девицей и стол, так и не дождавшийся президиума.

Больше мы на собрания не ходили, потому что на маму обрушились геолог Гена Горобец с оравой альбигойцев.

Когда Гена прилетает с Курил в командировку, всегда останавливается у мамы. Если в прихожей валяются гигантский рюкзак и великанские ботинки, а из кухни доносится густой бас, рыкающий «альбигойцы-альбигойцы-альбигойцы», — значит, будет весело. На Гену, как мухи на варенье, слетаются молодые геологини, мамины бывшие коллеги. Геологини по вечерам толкутся в кухне, заваривают чай и терпят альбигойцев. Точнее, бесконечные саги о провинциальных жителях феодально раздробленной Франции. Главный враг Гены — папа Иннокентий III, который затеял крестовый поход против беззащитных альбигойцев. Гена призывает кухонные массы не то чтобы на борьбу с папой (опоздали на семь столетий), а к гневному осуждению его коварной политики. Массы готовы на что угодно, поскольку Гена красив, как юный греческий бог, особенно в те минуты, когда вдохновенно защищает робких альбигойцев, то есть всегда.

Правда, в этот раз альбигойцам пришлось немного потесниться. У Гены новое увлечение — художник, непризнанный гений. В отличие от альбигойцев — наш современник, что несколько облегчает задачу. Гена вытаскивает из рюкзака цветные фотографии и тычет всем в нос. Ничего, красиво. Стилизованная Русь, которую олицетворяют неправдоподобно красивые девицы с гипертрофированными пшеничными косами, синими очами, вылезающими на виски, осиными талиями и приятными округлостями. Девицы располагаются либо под стройными березами, либо в колосящихся полях, либо на фоне плетней, прялок и коромысел. На мой взгляд, девиц чересчур много даже в сравнении с толпами альбигойцев, но мама моего скепсиса не разделяет и увлеченно бросается вслед за Геной на поиски меценатов.

— Эх, были времена… Савва Морозов, Третьяков, — сожалеет Гена. — Измельчал народ.

— Будем искать! — не сдается мама. — В конце концов, перестройка дала возможность возродить русскую культуру.

— Хоть бы выставочный зал организовать, — мечтает Гена. — Так всем деньги подавай. Не хотят помочь бескорыстно.

— Зал? — мама на секунду задумывается. — А давайте устроим экспозицию прямо здесь. Вынесем мебель из той комнаты. А главное — вход совершенно бесплатный!

«Я ЗАПУСТИЛ ТРАМВАЙ В КИЕВЕ!»

Все-таки удалось вырваться из Москвы в Киев на пару дней. В столицу я приехала на очередную учебу: внедрение чего-то там в учебный процесс и без того на ладан дышащий. Ради Киева можно и потерпеть трескучие «ации» — модернизацию, оптимизацию, интенсификацию…

Бегаю за папой по всему городу. Он давно на пенсии, но активно занимается общественной деятельностью. Без него Киев давно бы развалился. Нам надо: в какой-то фонд, в какой-то центр, в какой-то музей и в трамвайное управление. Называется «Киевэлектротранс». Я тоже в трансе от беготни:

— Что мы там забыли?

— Ничего не понимаешь. Я запустил трамвай в Киеве! — папа ускоряет шаг, помахивая потертым портфелем.

— Папа! Я тебя умоляю! Трамвай в Киеве пустили больше ста лет назад. При чем тут ты?

— Да, но я запустил его с рекламой, — он останавливается посреди улицы и роется в портфельных недрах.

Несколько листочков вырываются на свободу, летят на рельсы и гибнут под колесами громыхающего чудовища.

— И примешь ты смерть от коня своего, — меланхолично замечаю я.

— Что ты наделала? Это были гениальные слоганы!

— Я наделала? Ты сам их упустил.

— Да? Но я хотел, чтобы ты убедилась… Девушка! — папа простирает длань к могучей «девушке» лет так пятидесяти с хвостиком. — Как вы относитесь к трамвайной рекламе?

— Шо такое? — вздрагивает «девушка».

— Я спрашиваю: вам нравится реклама подгузников?

— На шо они мене?

— Нет пророка в своем отечестве, — папа грустнеет, но берет себя в руки, меня за руку и тащит в автобус. — Ладно. Поедем по делам. Девушка!

Очередная «девушка» сидит напротив. Немного моложе предыдущей и значительно симпатичнее. Уютная пампушка с ямочками на щечках.

— Это моя дочь! — сообщает ей папа.

«Девушка» улыбается, отчего ямочки углубляются, приободренный папа продолжает:

— А вы знаете, что до 1892 года в Киеве была конка?

Наша временная спутница смущается, но по-прежнему улыбается.

— А первая электрическая линия соединила Царскую площадь и площадь Ленинского комсомола.

— Проложив мост от царизма к коммунизму, — комментирую я.

— Не умничай. Девушка! А вы знаете, что грибы-вешенки страшно полезны для здоровья? Их можно выращивать в домашних условиях. Сейчас покажу… — папа опять потрошит портфель. — Куда же она задевалась?

— Та я уже схожу, — «девушка», одарив нас на прощание лучезарной улыбкой, идет к выходу. Папа задумчиво смотрит ей вслед.

— Вот на ком надо было жениться. Улыбается и молчит…

Я его понимаю. Лидочка не умеет ни того, ни другого. На место смешливой пампушки усаживается монументальная дама. Папа с опаской поглядывает на нее, ерзает, вздыхает, но не выдерживает и делает попытку контакта при помощи вокала:

Он капитан, и родина его — Марсель,
Он обожает споры, шум и драки,
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки.

Дама возмущенно поджимает губы и демонстративно отворачивается к окну, но папу это не останавливает. Он уже в образе.

У ней следы проказы на руках,
У ней татуированные знаки,
И вечерами джигу в кабаках
Танцует девушка из Нагасаки.

— А еще пожилой человек! — злобно шипит дама.

— Кто? Где пожилой? — папа оборачивается и шарит взглядом по салону.

— Шо вы ищете? Вы и есть пожилой. А ума нету, — пыхтит дама.

— Я?! — изумляется папа. — Я самый молодой и красивый! Дочь, пошли отсюда. Нас здесь не понимают.

Выбравшись из автобуса, он по инерции продолжает:

Вернулся капитан издалека
И он узнал, что джентльмен во фраке
Однажды, накурившись гашиша,
Зарезал девушку из Нагасаки.

Оболонь, закованная в бетон, задыхается от выхлопных газов, плавится под обезумевшим солнцем, колышется в знойном мареве. А где-то ждет прохладный зеленый Подол.

— Куда ты меня опять тащишь?

— В офис! — папа выбрасывает руку вперед, указывая направление.

— Зачем?

— Посмотришь настоящий офис. Ты такого на своем Сахалине в жизни не видела! — с гордостью заявляет папа.

Ну да. Я вообще в своей жизни ничего не видела. А эта экскурсия значительно расширит мой кругозор.

— Никуда не пойду. У меня всего полтора дня осталось. На Подол хочу…

Да где этот носовой платок? Еще не хватало слезы лить посреди родного города. Папа пугается и ищет успокоительное средство в своем безразмерном портфеле. Усаживает меня на скамейку и сует тоненькую брошюру, отпечатанную подпольным способом почему-то в Институте математики Академии наук Украины. «Подарокъ молодымъ хозяйкамъ, или Средство къ уменьшению расходовъ въ домашнемъ хозяйстве».

— Вот, смотри. Это я написал.

— При чем тут ты? — я вытираю злые слезы. — Это же Елена Молоховец.

— Да, но предисловие-то мое!

О господи! Всем известная Елена Молоховец жила в девятнадцатом веке, в нем же сочиняла рецепты блюд из давно сгинувших продуктов и попутно излагала, как тиранить прислугу и держать ее на голодном пайке в целях экономии. Смотрю предисловие. Точно: папа. «Употребление в пищу свежих ягод, фруктов и овощей особенно важно в период после аварии на Чернобыльской АЭС». Офигеть! Молоховец и не снилось, что ее прицепят к папиным рекомендациям!

— Ну вот! — радуется папа моему смеху. — Я же знал, что тебе понравится и пригодится.

Конечно, пригодится. С моей оравой и работой в две смены мне только остается сохранять груши на льду в медных луженых кастрюльках. Или делать превосходные «конфекты» из живых роз. Во! Крупа из розового цвета! «Обрезать белые кончики, и самый розовый цвет мелко истолочь, прибавить картофельной муки и белков, тереть в каменной чашке. Когда тесто погустеет, вымесить его хорошенько, раскатать, мелко изрубить, протереть сквозь решето; когда обсохнут, обровнять руками, чтобы было наподобие риса. Из этих круп варят молочную кашу с сахаром или пудинг на паре». А еще могу сберечь арбузы: «обмотать паклей, облепить глиной, держать в сухом, но холодном месте». И где я найду такое место, чтобы оно было недоступно моим троглодитам?

— Мама эту песню любила… — неожиданно печально говорит папа и тихонько напевает:

Кораллы, алые, как кровь,
И шелковую блузку цвета хаки,
И пылкую, и страстную любовь
Везет он девушке из Нагасаки…

— Помнишь?

Я молча киваю. Мама пела, ее глаза сияли, а папа подпевал и отбивал такт ладонями по столу…

— А давай — ну его к шутам, этот офис, — папа вскакивает со скамейки. — Поехали на Подол…

…Папа активно осуществляет чуткое руководство при помощи почты, телефона и Интернета. Присылает в посылках сомнительные брошюры типа «Исцели себя сам» и весьма ценные вещи: речи известного адвоката А. Ф. Кони, путеводитель по Киеву 1967 года издания, самиздатовские сборники своих рассказов, обильно усеянные фотографиями детей, внуков и правнуков. В открытках подробно перечисляет всех поздравляемых, но дозванивает: «Я забыл написать Эдика, так ты возьми ручку и допиши». В письмах — подробные рекомендации, охватывающие все сферы деятельности. Я должна: 1) немедленно развестись и выйти замуж в Америку за племянника тети Сары или в крайнем случае за двоюродного брата Софочки — ну, той, что жила на Васильковской улице и все время икала; 2) устроить младшего сына на работу директором банка; 3) найти дорогу в Японию к родственникам принца Микасо через синагогу «Бейт-Давид» — пусть оплатят издание моей новой книги.

Со своей стороны папа оказывает поддержку и развивает бурную деятельность: «Я попытаюсь найти в Израиле потомков Давида Айзенберга, основателя синагоги в Японии.

P.S. Если нужна будет биография Иосифа Трумпельдора — вышлю по Интернету.

Целую. Папа».

ЕСТЬ МНОГО, ДРУГ ГОРАЦИО...

Вахтерша из нашего колледжа день работает, два — отдыхает. Свободное время проводит с пользой: наблюдает из своего окна в доме напротив, как мы с мужем выходим утром из подъезда. Это профессиональное: следить за входящими-выходящими. Мы об этом не подозревали, пока она не спросила, смущаясь: «Почему вы иногда сворачиваете налево? Направо-то дорога короче». «Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам», — подумала я, но приоткрыла завесу тайны: «Мусор выносим. Если есть время — в ближний контейнер, а когда опаздываем — по дороге в дальний выбрасываем». Вахтерша облегченно вздохнула: «А я-то мучилась, ничего понять не могла».

Я тоже многого не понимаю. В этом я не одинока. Даже мудрый царь Соломон не мог объяснить три вещи: путь змеи по камню, путь корабля в море и путь мужчины к сердцу женщины. Не претендуя на славу Соломона, не перестаю удивляться. В частности, законам наследственности. Всю жизнь преподаю генетику, но не могу объяснить, почему, покупая банальную кофточку, устраиваю шоу «а-ля папа». И ведь, собираясь в магазин, даю себе страшные клятвы типа «Чтоб мне дохлую кошку съесть», что буду вести себя прилично, — и все равно срываюсь. Приходится брать с собой Нюшу — не пропадать же представлению. Нюша — зритель благодарный: радуется. Правда, продавщицы почему-то обижаются. Они не учитывают законы наследственности.

Страсть к шоу у папы проявилась давно. Впервые он выступил перед публикой в трехлетнем возрасте, когда молоденькая тетя была вынуждена взять его в гости в приличный дом. Дом и тетя были настолько приличными, что папе было строго-настрого запрещено произносить слово «уборная» и другие слова, связанные с ней. Был выработан условный сигнал: песня. Желательно громкая и жизнеутверждающая. Петь пришлось долго, потому что тетя отвлеклась. Ей было весело. А папе было не до смеха. «Шел отряд по берегу, шел издалека…» очень долго. И очень громко. Всем понравилось. Кто-то даже начал аккомпанировать на рояле (дом был приличный). Остальные подпевали и гладили папу по голове, не замечая слез, катившихся по щекам. Щеки были круглыми — до войны оставалось шесть лет. А волосы, вьющиеся тугими кольцами, были совсем светлыми. Светлее, чем у меня сейчас.

Папа рос. Вместе с ним рос репертуар. Он выступал на многих сценах: мужской школы, обувного техникума, куда его сослали на перевоспитание, и Клуба пищевиков. Он пел, танцевал и читал стихи о советском паспорте.

…Я сидела в зале среди людей в габардиновых пиджаках и креп-жоржетовых платьях. Прожекторный луч пометался по сцене и затих ослепительным кругом. В нем появился худенький послевоенный мальчик в коротких брюках, мятой рубашке с воротником «апаш» и звонко закричал: «Я волком бы выгрыз бюрократизм! К мандатам почтения нету! К любым чертям с матерями катись любая бумажка, но эту…»

Праздники случались нечасто: на Первое мая, Седьмое ноября и в День работников пищевой промышленности. Папа взрывал серые будни фейерверком выдумок. В шестнадцать лет он придумал переодеться в барышню и пойти на танцы все в тот же клуб, где иногда блистал на сцене. Для исполнения замысла нужны были платье, чулки, туфли и дамское пальто. Соседки-студентки его нарядили и раскрасили от души. Даже перевыполнили план: намотали затейливую чалму и прицепили искусственную розу. Папа быстро вжился в образ, но решил проверить его убедительность на приятеле Мишке. Дверь открыла Мишкина мама и, увидев

«визитершу», выдала: «Так надо иметь дети? Если уже сейчас, в его возрасте (это я говорю за своего сына, дай ему Бог здоровья), к нему ходят проститутки (это я говорю, извините, за вас), то что будет дальше, я спрашиваю?»

С танцев пришлось улизнуть задолго до финального фокстрота, потому что успех превзошел ожидания. Я шла за ним по заснеженной Покровской мимо своей будущей — бывшей? — школы. Невесомый пушистый снег, разбавленный тополиным пухом, падал на его кокетливую чалму, мои волосы и голые плечи — я выбежала из сахалинского яростного лета в сарафане и шлепанцах на босу ногу. Испугалась, что к нему привяжется подольская шпана. Он неловко скользил на высоких каблуках, напевая: «А мне мама, а мне мама целоваться не велит».

На площадке гранитной лестницы, где через двадцать лет он скажет, что они с мамой решили временно расстаться, остановилась и смотрела, как он исчезает за пеленой пуховой метели. Я начертила на легком снегу два забавных смайлика… Быть может, призрачный парашютик доживет до весны, прорастет робким стебельком, наберет силу и превратится в наш тополь? А мы с братиком устроим в дупле тайник…

Папа прислал по Интернету аудиозапись своего нового рассказа. Папин голос… Все такой же молодой, любимый, с едва уловимыми смешинками… Но что это? Рассказ был напичкан песнями. Старыми забытыми песнями из моего детства…

Я не говорила ему о том, что пишу эту повесть. Просто писала и думала о маме и папе…

РОЗОВЫЕ ОБЛАКА В СИНЕМ НЕБЕ

От зарплаты остались рожки да ножки, а от лейтенантского пайка — рожки да сушеная картошка. Мама купила борщ в литровой банке, запечатанной жестяной крышкой. Полуфабрикат, из которого надо соорудить целый фабрикат, если следовать инструкции. Этикетка разлохматилась, ничего непонятно. Полистала толстенную «Книгу о вкусной и здоровой пище», привезенную из Киева в качестве пособия по самостоятельной жизни. Ее смело можно отнести к жанру научной фантастики: рецепты в соответствии с диетологией, но эти продукты во Владивостоке не водятся. Про приготовление борща из банки там ничего не было.

Мама вздохнула и принялась за дело. Открыла консервным ножом крышку, храбро вытряхнула лиловое содержимое в кастрюлю, долила воды, хорошенько перемешала и зажгла керосинку. Масса вспучилась пузырями, заворчала и запахла. Мама прикрыла нос полотенцем и терпела, пока не пришел папа.

— Чем это воняет?

— Борщом, — мамины глаза наполнились слезами.

— А! Борщ! Ну так бы сразу и сказала! — обрадовался папа, погремел носиком умывальника и сел к столу.

— Только сметаны нет, — перед ним появилась дымящаяся тарелка. — Подожди, хлеб нарежу.

Папа после службы ждать не мог. Съел первую ложку и изумился.

— Вкусно? — с надеждой спросила мама.

— Потрясающе! — искренне ответил папа и героически съел вторую ложку.

Он набросился на жуткое варево, как на врага, чтобы поскорее разделаться и навсегда вычеркнуть из памяти страшные минуты. К тому времени, как на столе появились хлеб и вторая тарелка, все было кончено.

— Добавки?

— Попозже, — тактично ответил папа и распахнул окно. — Перекурим это дело.

Мама попробовала борщ и поперхнулась.

— Фу! Какая мерзость! Я забыла посолить…

— Ну конечно! Я все думал: чего там не хватает? А это, оказывается, ты посолить забыла.

— Как ты мог это есть? Наверное, ты меня любишь…

— Спрашиваешь, — хмыкнул папа. — Кстати, в каком виде наши финансы?

— В плачевном. Зачем тебе?

Папа не ответил. Он рылся в карманах плащей и пальто, висящих на гвоздиках, потрошил тумбочку, вскрывал коробки из-под конфет, тряс жирные брюшки книг и напевал:

Всем известно, что студенты
Редко платят алименты,
Всем известно, что они бедны…

Пересчитал груду мелочи и ринулся под тахту. Оттуда приглушенно доносилось:

Но они не прочь порою
Погулять с чужой женою,
Потому что нет своей жены.

Береги жену, —

напомнила мама.

Береги штаны,
Береги карман,
Берегися са-а-а-ам, —

согласился папа и вылез, удовлетворенно подкидывая монетки.

— И что дальше? — спросила мама.

Папа снял с плечиков единственное парадное крепдешиновое платье и взмахнул им как флагом.

Румба-румба-румба-румба
Выгнали попа Колумба,
Пузо порохом набили,
И на бочку посадили,
И на гору закатили,
Пушка: ба-бах!!!

— Одевайся!

Папины карманы раздулись от мелочи и нежно звенели в такт шагам до самого «Золотого Рога». В гулком зале плавали сизые клубы дыма, сплетаясь с волнами чада. Томно стонал аккордеон, высоко вздымалась внушительная грудь певицы, отвлекая от неудачно взятых нот. Тем не менее утомленное солнце все равно нежно с морем прощалось. Двое за ближайшим столиком упорно выясняли, кто кого уважает и за что конкретно; шумная компания настойчиво требовала: «пей до дна, пей до дна»; лысый толстячок в заграничном галстуке поднимал бокал, как статуя Свободы факел, и требовал минуточку внимания.

— Сейчас мы окунемся в это гнездо разврата, — пообещал папа и встрепенулся вслед официантке: — Девушка!

Пожилая грузная девушка приостановилась и окинула посетителей опытным взглядом. Опытному взгляду открылся юный, красивый, тощий лейтенант Военно-морского флота и юная, красивая, худенькая девочка в нарядном платье. Крепдешин, подкрепленный ватными плечами, свободно падал, и, если бы не округлившийся живот, можно было подумать, что внутри ничего нет. Узкое личико казалось совсем прозрачным. Наверное, оттого, что огромные карие глаза испуганно распахнулись.

— Пошли, пионеры, — официантка повернулась и заколыхалась, ловко лавируя между столиками. — Садитесь в уголочке. Меню пока посмотрите.

Папа небрежно перелистал меню и царственным жестом протянул картонную папочку маме. Та посмотрела и сникла.

— Ну что, выбрали? — официантка держала наготове блокнот и карандаш.

Папа выгреб из карманов всю мелочь и сложил ее горкой на скатерти.

— Гуляем на все!

— А мамки-то ваши далеко? — пригорюнилась официантка.

— Мамки сидят у фонтана в городе Стамбуле.

— Чего это?

— Я — сын турецкого султана и ста сорока прекрасных наложниц.

— Вот балаболка. Ладно, сидите пока.

Принесла хлеб и ароматный борщ с тающим кружком сметаны. Папа с мамой переглянулись и фыркнули, но добрая фея в легкомысленной крахмальной наколочке на волосах и кокетливом кружевном фартучке на необъятной талии строго насупила брови:

— А ну ешьте! Нечего перебирать!

Потом притащила котлеты с картофельным пюре и два стакана в мельхиоровых подстаканниках.

— О нимфа! О прекрасная богиня! — возрадовался папа, придвигая к краю стола звенящую горку. — Здесь с избытком хватит, чтобы расплатиться за этот божественный пир.

Официантка ловко отщелкала пальцем половину кучки, но папа заявил:

— Берите все! Это вам на чай.

— Господи, да молчи уже. «На чай». Без тебя чаю не напьюсь, как же. Идите, ребятки, в этот… как его… Стамбул.

На нежданную сдачу папа купил у уличной цветочницы астры. Мама окунула лицо в сиреневые, бордовые, белые лепестки с едва уловимым тревожным запахом.

Всем известно, что девицы
Беззаботны, точно птицы,
Всем известно, как они нежны, —

затянул папа, обняв маму за плечи.

— Тише ты, перестань. На нас все смотрят.

Но они порой, лаская
И вас нежно обнимая,
Могут снять последние штаны!

— Я же не просила водить меня по ресторанам. Цветы тоже не просила. И на твои штаны не покушаюсь, — мамины щеки порозовели, в глазах вспыхнули золотые искорки.

Береги штаны,
Береги карман,
Береги часы,
Берегися са-а-а-ам!

— Осталось только на патруль наткнуться. Или на дружинников, — мама засмеялась и предложила: — Давай шепотом.

Румба-румба-румба-румба
Выгнали попа Колумба,
Пузо порохом набили,
И на бочку посадили,
И на гору закатили,
Пушка: ба-бах!!!

Бабах, несмотря на предосторожность, все равно получился громким. Просто оглушительным. Прохожие улыбались, оглядывались на бесшабашных счастливцев и смотрели, как они идут к Золотому Рогу.

Солнце устало и собралось спать.

В синем небе гуляли розовые облака.

В синем море бурлили розовые барашки.

Чайки, вскрикивая, метались между небом и морем.

Волны баюкали тяжелые корабли у причалов.

В мамином животе слушала песню я…